

ПОЗАБЫТЕРА И СЕГОДНЯ. НЕВ РАЗГОИ



ПЕРЕКРЕСТОК  
**Ц О М Е Т**  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ

Лев РАЗГОН

# ПОЗАБУЕРА И СЕГОДНЯ

*Повесть о жизни*

Тель-Авив • Москва  
5755 • 1995

Приложение  
к российско-израильскому  
литературному альманаху  
"Перекресток — Цовет"  
под редакцией Леонида Гомберга (Израиль)  
и Рады Полищук (Москва)



Издание финансирует

ЧАСТНАЯ ФИРМА С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИЛЬЯ КОЛЕРОВ И КО»

Адрес фирмы: 117588, Москва, Новоясеневский просп.,  
д. 13 корп. 2. Телефон: 425-90-39.

Редактор приложения Рада ПОЛИЩУК  
Художник Вячеслав ПОЛИЩУК

**Р 17 Разгон Л.Э.**

Позавчера и сегодня. Повесть о жизни. — Тель-Авив —  
Москва, 1995. — 208 с.

ISBN 5-86225-098-0

«Позавчера и сегодня» — книга не столько о детстве, сколько о том, что из этого детства сохранилось на всю жизнь, несмотря на годы тяжелых испытаний и потерь, и отозвалось сегодня. Размышления автора о своих национальных корнях, о своем еврействе созвучны многим нашим современникам. Книга написана в лагере, потом пропала и через тридцать три года, чудом уцелевшая, вернулась к автору.

ББК 84Р7

ISBN 5-86225-098-0

© Л. Разгон, 1995 г.  
© Оформление В. Полищука

21969 4



## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

**В**ероятно, каждая книга имеет свою историю и даже предысторию, и не очень скромно навязывать ее читателю. Но история этой книги является частью той жизни, которая стала предметом моих размышлений и воспоминаний. И поэтому я решаюсь предварить саму книгу воспоминаниями о том, что ей предшествовало.

В своем первоначальном виде она лежит передо мной — толстая тетрадь, даже не тетрадь, а рукописная книга, в таком прочном переплете, что на ней мало сказались годы многих приключений, с ней происшедших. Убористо исписанная светло-фиолетовыми чернилами, она напоминает мне о начале этой истории.

А началось все с того, что в одной из посылок, присланных мне из Москвы, оказалась эта самая тетрадь. Посылку собирали весьма опытные в этом деле люди: мама, у нее был более чем десятилетний стаж комплектации посылок для сыновей, находящихся в заключении, и младший брат, который тоже в своем довоенном прошлом отбыл в Нижнеамурлаге срок, хоть и сравнительно небольшой. Очевидно, после четырех лет войны и нескольких лет привольной жизни в оккупационных войсках в Австрии он основательно забыл, что в посылке для арестанта каждый грамм на счету. Иначе как мог он сунуть в посылку никому не нужную тетрадь весом почти в кило! Об этом я ему написал с полной откровенностью, как старый, но еще действующий зек другому зеку — хоть и бывшему... Но брат оказался дальновиднее меня!

Ох, не сладко тянуть новый срок! Да еще человеку, отягощенному тюремным опытом и лишенному иллюзий. Срок у меня для лагерной статистики — средний, для меня — большой: десять лет плюс пять ссылки. Немолодой — за сорок, поистасканый, досыта хлебнувший арестов и обысков, пересылок и лапунктов, удрученный утратой близких. Жена — в далекой Сибири, в таежном углу Красноярского края, сосланная «навечно». Я вспоминаю, как прощался с мамой, худенькой, ссохшейся, и понимал, что прощаюсь навсегда. Дочь после того, как принесла в свой

восьмой класс книжку Фейхтвангера «Москва. 1937», не просто выставили из школы: вызвали в Госбезопасность моего брата и дружески — «как офицер офицеру» — посоветовали как можно скорее отправить глупую девочку с очень плохой наследственностью куда-нибудь подальше от Москвы. И живет моя шестнадцатилетняя Наташа у своей ссыльной тетки, которая только что оттянула восьмилетний срок и отсиживается в далеком поселке в неближней Башкирии.

Вот о ней, о полусыльной моей дочери я стал думать часто и много. Увижу ли я ее? А если увижу, то в каком буду состоянии, сумею ли рассказать ей о себе, о ее родных, о наших корнях... Никогда раньше не думал я о своих корнях, о своем детстве, о своем еврействе. Во мне это проснулось только в последние лагерные годы. И не оттого только, что мутные волны грядущего антисемитского потока докатывались до меня. «Нищему пожар не страшен»... Другое тут было. Если бы растение умело думать и чувствовать, то значение почвы для себя оно в полной мере могло бы осознать, будучи из нее вырванным. Таково было мое ощущение.

Наташе никто никогда не рассказывал о моей родной почве. Она, наверное, уже получила паспорт, и в паспорте указано, что она русская, как ее мать. Так и должно быть. Она, конечно, русская — по языку, культуре, среде. Но значит ли это, что почва, где вырос ее отец, его корни, его родные, его детство — все это должно остаться ей неизвестным, чуждым?.. И чем больше я об этом думал, тем больше укреплялся в мысли, что должен об этом Наташе написать. Написать, ибо совсем немного шансов, что увидимся (а если и свидимся, то кто знает, буду ли я в состоянии рассказывать...). Да и писать мне легче, чем говорить. Привычнее что ли... Все же это моя профессия.

И тут мне подвернулась вот эта раздосадовавшая меня толстая тяжелая тетрадь-книга с плотной желтоватой бумагой. Я был бы неискренен, утверждая, что дело было только в этой тетради. При всей моей любви к хорошей бумаге у меня не возникла бы мысль о писании, если бы я по-прежнему находился на общих работах и ходил пилить лес. Не знаю как на царской каторге, а советская каторга не предоставляет никаких возможностей для подобных умственных игр. Но я уже прошел через первый и самый тяжелый период зековской жизни. И выбитая с боем в Ставропольском НКВД надпись в формуляре «нормировщик», как я и надеялся, сработала. После того, как нашего нормировщика, который через две недели должен был освободиться, принесли в зону на шинели, мертвецки пьяного, меня, уже вернувшегося из леса, проглотившего обед и улегшегося на нары, разбудил дневальный из конторы. Начальник плановой части, тоже за-

ключенный, интеллигентный нерусский человек, объяснил мне ситуацию: рабочие наряды должны быть к утру пронормированы, чтобы предстол мог начислить питание; нормировщик без сознания, и вообще скоро уйдет из зоны, а начальник плановой части знает, что на лагпункте есть другой нормировщик, и давно положил на меня глаз... Я растерялся от неожиданности, потому что уже успел забыть нормы выработки. Они же отдельно нормируются не только по кубатуре, но и по породам, сортаментам, диаметру, качеству древесины... Плановик меня спросил:

— На линейке считать не разучились?

— Нет, не разучился.

— Садитесь со мной рядом. Я буду проставлять нормы, а вы — считать и выводить процент выработки. Кстати, и нормы вспомните. Они с ваших времен не изменились...

Плановик Караев — кумык из Моздока, учитель по профессии, стал одним из моих друзей по новому сроку. Умный и добрый, отлично знавший и любивший русскую литературу, он мне быстро помог сориентироваться в сложнейшем лабиринте идиотских норм, какие только может создать бюрократическое воображение. Он освободился на два года раньше меня, и его письма были для меня радостью.

Специфика работы нормировщика создала идеальные условия для того, чтобы взвалить на плечи дочери прошлое ее отца, дедов и прадедов, историю их далекой и наверняка чуждой ей жизни. Бригадиры заполняют рабочие наряды после возвращения бригад с работы и сдают их в плановую часть поздно, перед самым отбоем. И только тогда за них берется нормировщик. Часам к двенадцати ночи надо пронормировать все наряды, вывести каждому процент выработки и сдать заполненные наряды в предстол. А после этого можно оставаться в конторе сколько угодно. Лагерные начальник и надзиратели знают, что в плановой части работают ночью. Это создает некоторые привилегии: утром разрешается не вставать на развод, на довод, на поверку — на все унылые и просто мерзостные утренние процедуры.

Ремесло нормировщика я восстановил быстро и с некоей гордостью сам оценил себя как туфточа высокой квалификации. В работе нормировщика, если он зек и не сука, а нормальный человек, самое главное — растолковать каждому бригадире, как заполнять наряд. Как говорят ученые, априори известно, что норму выработки зеку выполнить невозможно. Она составлена для вольных, здоровых, хорошо знающих свое дело, сытых людей. Нормы эти составляют очень дотошные люди, стремящиеся, чтобы рабочий отдал родному государству все силы.



Но тут проявляется та научная истина о действии и противодействии, которая в лагерном фольклоре выражена в точной непристойной поговорке: «На всякую хитрую жопу всегда найдется хитрый хер с винтом». И ухищрения авторов нормативных справочников отлично служили моему главному делу: процент выработки каждого зека должен быть не ниже ста — ста десяти процентов. Именно такой показатель гарантировал работяге полную пайку и даже «премблюда». Истины ради следует сказать, что никакого подвига я не совершал. О туфте знали все — от начальника лагпункта до последнего вертухая. Но начальству тоже надобно, чтобы у него «контингент» работал хорошо, чтобы нормы выполнялись, чтобы в отчетах все было в ажуре. Большинство начальников ведь было из крестьян, а они знали, что скотина тогда работает, когда ее кормят.

Но я отвлекся... Первый час ночи. Наряды пронормированы, сданы в продстол, и я хозяин себе и своему времени. В комнате плановой части тепло, потрескивает печурка, сухие колотые дрова лежат грудой в углу, над столом горит электрическая лампочка, я один и никто меня не потревожит. Можно спокойно предаться воображаемому разговору с дочерью. Из чернильного карандаша изготовлены чернила, у меня достаточный запас перьев, на плитке стоит кастрюлька с водой, а в столе у меня лежит мой пайковый сахар и заварка настоящего чая. Каждый пишущий знает, как располагает к тому, чтобы водить пером по бумаге, сама бумага: плотная, гладкая...

Иногда я отрываюсь, чтобы налить себе чаю или просто подумать, вспомнить. Сейчас, перечитывая тогда написанное, поражаюсь своей памяти, тому, что я не только отчетливо, с необыкновенной ясностью вспоминал все детали, все события моей детской жизни, но помнил имена людей: родных, знакомых и посторонних... Вспоминать мое счастливое прошлое, рассказывать о нем дочери было наслаждением. Настолько сильным, что в нем растворялась горечь утрат. Мне случалось встречать людей с биографией, схожей с моей, которые утверждали, будто за все годы в лагере не было у них ни одной светлой минуты. Может быть. Всеми нами командовал господин Случай, и, вероятно, мне повезло больше, нежели другим. Что явствует хотя бы из того, что я сейчас пишу эти строки.

Но вот этот период счастливой в общем-то жизни кончился. Передо мною лежала мелко исписанная бледными чернилами толстенная тетрадь. Не тетрадь — книга! И наступал следующий этап моего плана. Он состоял в том, чтобы переправить тетрадь в

Красноярский край моей жене Рике, с тем, чтобы она переслала ее Наташе, когда той исполнится восемнадцать лет. План был хороший, почти из старинного сентиментального романа. Я представлял себе, как моя повзрослевшая дочь хранит в заветном месте эту тетрадь и время от времени возвращается к ней, чтобы почувствовать себя дочерью своего отца...

Замысел был выполнен блестяще. Кушмангорт, место, где находилось наше отделение, было расположено возле деревни, и в нашем лагере работало несколько деревенских вольнонаемных: трактористы, сплавные мастера. Это были хорошие люди, а кроме того, они были заинтересованы в добрых отношениях с плановиками. И вот один из моих вольных знакомцев отправил Рике посылкой мою тетрадь.

Сейчас, когда почта хочет работает, а хочет и вовсе не работает, странно вспоминать, как отлично, необыкновенно четко работала почта в последние годы царствования Сталина! Мы с Рикой писали друг другу каждый день. И все письма доходили! Намного скорее, чем сейчас. Хотя деревня, где Рика отбывала ссылку, была в ста двадцати километрах от железной дороги, а к нам почту доставляли на лодке или на санях. Рика несколько месяцев наслаждалась моими воспоминаниями, но потом поделилась своими сомнениями: ссылка — не самое надежное место для хранения заветной тетради. Ссылную в любое время могут перевести в другое, еще более глухое место, и неизвестно, что она сможет увезти из своих пожитков. Кроме того, у ссылных регулярно производят обыски и нельзя поручиться, что особо бдительный чекист не конфискует тетрадь. А Наташа выросла, не дожидаясь своего совершеннолетия. За это время умерла моя мама, уехал из Москвы брат, и Наташа вернулась в свое родовое гнездо на Большой Ордынке, пошла работать упаковщицей в 1-ю Образцовую типографию и стала хозяйкой своей непрочной судьбы. Рика решила отослать тетрадь Наташе. Я даже успел получить от дочери коротенькое письмо, что тетрадь у нее. А потом она о тетради перестала упоминать, да и я ее не спрашивал.

Рика приехала в Москву первой, в 1954 году. Но в ее переполненных новостями письмах не было сказано ни слова о моей тетради. А когда меня в следующем, пятьдесят пятом году освободили, то смущенная дочь мне призналась, что тетради у нее нет. Взяли почитать, просто украли, забыли вернуть — Бог знает, как это произошло. Ну нет тетради! Я понимал, что никогда не сумею восстановить ее или написать что-либо подобное. Однако встреча с женой и дочерью, погружение в новую жизнь с ее бес-

численными проблемами несколько смягчили боль утраты. Хотя мне казалось, что не тетрадь я утратил, а свое прошлое, свое детство, своих родных.

Но вот, как писали некогда в титрах немого кино, прошло много, много лет. Если быть точным — тридцать три года. И множество событий произошло за это время. «Ряд волшебных изменений милого лица»... Неоспоримость этих изменений проявилась для меня и в том, что журнал «Юность» в 1988 году начал печатать другие мои воспоминания, вовсе не идиллические, мою биографическую прозу «Непридуманное». В этой книге я упомянул, что в лагере написал для дочери толстую тетрадь с воспоминаниями о своем детстве, а легкомысленная дочь или потеряла тетрадь, или ее украли, но дорогой для меня рукописи я лишился навсегда.

...До сих пор помню свое волнение, трепет от неожиданного телефонного звонка. Приятный женский голос, немного запинаясь, сообщал: у них в семье много лет хранится рукописная толстая тетрадь, где неизвестный им человек описывает свое детство, своих родных... Сейчас они прочитали в «Юности», в моих воспоминаниях, фразу о пропавшей тетради, и ей с мужем пришло в голову... Они узнали в редакции мой телефон.

Жили они где-то на краю Чертанова, и мне казалось, что такси не едет, а ползет! Я взбежал на третий этаж «хрущевской» пятиэтажки, позвонил. Мне открыла средних лет симпатичная женщина. В руках она держала мою тетрадку. Я заплакал... Хозяин дома вздохнул, пошел на кухню и открыл холодильник.

Через полчаса, когда была выпита первая бутылка водки, я уже знал всю неправдоподобную историю своей тетрадки. Передо мной сидели очень приятные люди, от которых веяло каким-то душевным здоровьем. Он — инженер, она — программист. Много лет назад он работал на каком-то небольшом заводе. Знакомый рабочий, с которым они часто обменивались книгами, однажды принес почитать увлекательную рукописную книгу. И это была моя тетрадь. А через некоторое время рабочий уволился, не востребовав «рукописной книги». Фамилия этого человека забылась, новый хозяин моей тетради перешел с одной работы на другую. Тетрадь-книга так и осталась в его семье, и они очень дорожили ею, читали по вечерам вслух, перечитывали. Герой этого повествования стал как бы членом их семьи, они привязались к человеку, который на каторге, в конце своей жизни пишет дочери такое удивительное исповедальное письмо. Я внимательно всматривался в этих стопроцентно русских людей, не помнив-

ших, как выяснилось (или не вполне понимавших), что происходило в те годы, когда писалась моя тетрадка.

— Скажите, что вас заинтересовало в моем рассказе? Неужели вам было интересно читать про жизнь неизвестного вам, чужого еврейского мальчика, про его детство, его родных?

Отвечал мне муж.

— Да, интересно, очень интересно. Мы всю жизнь прожили в Москве, никогда не были в тех местах, где жили вы, не знали про тамошних людей — было занято, интересно, как будто слушали по телевизору Сенкевича. А потом — как-то удивительно даже — привязались мы к этому человеку, к вам, значит. И обсуждали: какой он, на кого похож... Мы понимали, что нельзя держать у себя чужую книгу, что надобно ее передать куда-нибудь, где хранят рукописи, но жалко было с ней расставаться. Ведь вроде книга, сочинение, а все доподлинно, все правда.

— И понравились вам эти люди из моего детства?

— Понравились. Люди как люди. Разные. Хорошие и плохие, приятные нам и неприятные. Знаете, Лев Эммануилович, какую книгу я вспомнил, читая вашу? «Детство Никиты» Алексея Толстого.

Нет, я достаточно разумный и незакомплексованный человек, чтобы даже отдаленно сравнивать свои бесхитростные воспоминания с литературным шедевром — лучшим, что написал этот талантливый писатель и бессовестный человек. Но мысль своего нового друга я уловил: детство должно питаться не только играми и удовольствиями, ему нужна и духовная пища.

Мне не приходило в голову, что свой рассказ дочери я могу превратить в книгу, интересную не только ей. Поэтому тетрадь еще несколько лет пролежала в столе, пока я вновь ее не достал, вернувшись из Иерусалима. Я подумал, что разговор о Горках, о детстве мне следует начать с рассказа об увиденном и прочувствованном в великом и чужом городе.



21969 2

## ЕРУШАЛАИМ

**Г**ило. Так называется район, где я живу. Он несколько напоминает небольшие южноевропейские города, какие мне приходилось видеть. Дома, облицованные белым камнем; дворы, заросшие цветами; гладкий, блестящий чистотой асфальт мостовых; длинноногие девицы и мужественные ковбои на рекламах новых американских фильмов; изящные и комфортные автобусные остановки.

Так мне показалось сразу после приезда. Но в первый же раз, когда я вышел в скверик, сел на скамейку и огляделся, я быстро понял, что ошибаюсь — настолько не похож этот город ни на один мною когда-либо виденный. И никогда и нигде я такой город не увижу. Гило — самая верхняя точка города. И передо мною во всю полукруглость горизонта раскрывается его панорама: белоснежные районы на холмах, беспорядочное скопление зданий, храмов, башен, занимающее половину этой панорамы. Я различаю знакомые по книгам и буклетам золотой купол знаменитой мечети, башни старого города, фешенебельные небоскребы.

И все вокруг, если взглядеться, — не европейское, совершенно другое, ни на что не похожее. Два одинаковых совершенно круглых — как шатры — железобетонных дома. В одном — синагога, в другом — миква—бассейн для ритуальных омовений женщин. А под стандартными кинорекламами подписи на незнакомом языке, незнакомыми буквами, ничего общего не имеющими ни с латинскими, ни с кириллицей, ни с арабской вязью. Хотя начертание этих букв мне знакомо с детства. Знал я, с первых лет моей жизни, и название этого города, произносимое в традиционном пожелании в конце праздничного застолья: «Ибер аер ин Ерушалаим» — «Через год в Иерусалиме».

В Иерусалиме я оказался, однако, не через год и не через два, а когда мне исполнилось восемьдесят четыре года.

Я — в Иерусалиме. Ерушалаиме. Том самом. И холм, где я нахожусь, и другие, на которых видны россыпи белых домов, — это иудейские холмы из Библии, Евангелия, прозы Фейхтвангера, Манна, Булгакова, стихов Пастернака и других великих поэтов. Здесь как бы все знакомо. И все — совершенно незнакомо. И не-

понятно. Сквер, где я озираю окрестности, еще молодой. Здесь отцветает миндаль, трепещут на ветру молодые оливы, густо усыпанные лиловыми цветами деревья, которые мы в Крыму почему-то называли «иудиными». По каменистой земле вьются резиновые шланги капельного орошения, и невысокая, но густая трава свидетельствует об эффективности этого чудо-изобретения.

Напротив сквера — улица. Почти европейская улица. К обочинам припаркованы новенькие автомобили самых популярных европейских, американских и японских марок. Такие же машины с легким шорохом проносятся мимо. И сквер — как в итальянском или греческом городе. Если бы не стадо овец, которое паслось тут же. Большие, грязно-белые, длинношерстные овцы, не пугаясь машин, щиплют траву, тычутся мне в ноги своими задумчивыми мордочками. Пастух — араб, в джинсах, но в традиционном платке на голове — прислонился к дереву и равнодушно глядит на знакомую, совсем не деревенскую улицу. А его деревня за сквером, в ложине, видна как на ладони и так и называется: арабская деревня. Хотя ничего деревенского в ней нет: небольшой микрорайон из красивых облицованных камнем домов. Дома разные: и многоэтажные, и рассчитанные на несколько квартир, и виллы. Внизу, на первом этаже, — гаражи, магазинчики. Тоненький минарет новой мечети. Европейский район и арабская деревня — все это один город: Иерусалим. Но они сосуществуют, как вода и масло в одном сосуде, не сливаясь друг с другом, совершенно раздельно. Мне еще предстоит понять, почему это так...

Чтобы подумать об этом, а также о многом другом, что нахлынуло на меня здесь, в Иерусалиме, я и выхожу почти каждый день в сквер, сажусь на удобную провинциальную деревянную скамейку и начинаю приводить в порядок накопившиеся впечатления. Их множество. Я ехал в Иерусалим к своим близким, в семью брата, умершего год назад, и думал спокойно отдохнуть в великом знакомом и незнакомом городе.

Но спокойствия не получилось. За несколько месяцев до этого одна из популярнейших газет на русском языке ежедневно подвалами печатала мою автобиографическую книгу «Непридуманное». Я не заработал ни одного шекеля, но зато на меня обрушился вихрь телефонных разговоров, неожиданных встреч и внезапно нахлынувших воспоминаний. Я встречался с бывшими диссидентами и бывшими партийными работниками с ритуальной кипой на лысеющей голове. Из далеких (по здешним масштабам) поселений мне звонили мои «корешки». С одним я был в Устьвымлаге, с другим в Усоьльаге... Меня разыскал старый, с одышкой, грузный человек, в котором я с великим трудом узнал

мальчика, жившего по соседству в деревянном доме на Оршанской улице в Горках, маленьком городке в «черте оседлости» Могилевщины. Городе, где я родился и провел первое десятилетие своей жизни. С Додей Хаитом нам было что вспомнить, о чем поведыхать, о чем задуматься. Городу моего детства я обязан и другой поразившей меня встрече: она стала предметом долгих размышлений и тогда, в жарком Иерусалиме, и теперь, в холодной дождливой Москве.

Среди множества телефонных звонков этот был одним из самых неожиданных. Молодой очень русский голос сообщил, что со мной говорит переводчик по просьбе генерала... и назвал фамилию, мгновенно мною забытую. Из газет генерал узнал, что я земляк его родителей, и обязательно хочет со мной встретиться, могу ли я — и так далее... Конечно! Израильский генерал с горькими корнями — я ощутил даже некую гордость и немного разволновался.

Однако прошло несколько дней, переводчик не звонил, и я уже перестал надеяться, что пощекочу свое провинциальное самолюбие знакомством с генералом — полувыходцем из Горок. Но однажды раздался звонок в дверь, и я услышал, что моя золовка — москвичка Зоя — безуспешно пытается объясниться с каким-то господином, очевидно, владеющим только ивритом. Я услышал свою фамилию и поспешил ей на помощь. Не понимая ни одного слова и не зная, кто передо мною, я догадался, что это тот самый генерал... Он был точно таким, каким, по моим представлениям, должен быть израильтянин, добившийся в долгих кровопролитных боях такого редкого в этой стране звания, — высокий, поджарый, мужественный и молодежавый, несмотря на немолодые годы. Я мало чем мог помочь моей милой родственнице, но жестом пригласил его войти. Он спросил: «Ду ю спик инглиш?», я на чистейшем английском ответил: «Ноу». Тогда он вдруг задал мне тот же вопрос на идиш... Говорю ли я на идиш? Действительно, знаю ли я язык, который в детстве был для меня родным, на котором разговаривала мама и почти все мои друзья?

Знаю ли я идиш? Ведь я еврей и еврейский был некогда моим родным языком. Я говорю «еврейский», потому что слово «идиш» в переводе на русский означает «еврейский» и потому что другого еврейского языка мы не знали. Древнееврейский язык лошен-кейдеш употреблялся только для молитв, к которым мы были не очень приучены. Но я знал еврейский язык! Я знал все



его тонкости, словечки, непристойности, песни... По вечерам мама нам читала Шолом-Алейхема, Переца, Менделе Мойхер-Сфорима, читала стихи, и после ее смерти я узнал, что некоторые из них были ее собственными.

А потом этот родной язык стал вытесняться другим, ставшим тоже родным, еще более родным, — русским. Нет, я не разлюбил свой первый родной язык, я по-прежнему любил еврейские песни, не пропускал ни одного спектакля в Еврейском Камерном театре, с удовольствием ввертывал в речь еврейские пословицы и поговорки. Но постепенно он перестал быть моим языком, я говорил и со мной говорили только на русском. Даже мама говорила со мной по-русски и писать научилась по-русски, чтобы переписываться с двумя сыновьями, обитавшими на далеких островах ГУЛАГа.

Я не забыл идиш, не перестал его понимать, я по-прежнему знал его настолько, чтобы получать удовольствие от игры Михоэlsa и Зускина. Но беспомощно улыбался и отвечал по-русски, когда ко мне обращались по-еврейски.

Зимой тридцать девятого года на 3-й штрафной командировке нашего лагпункта ко мне подошел немолодой, достаточно потрепанный лагерной жинью еврей и заговорил со мной по-еврейски. Я ответил, конечно, по-русски. Мой собеседник покачал головой.

— Нет, пожалуйста, — настаивал он, — я прошу вас говорить со мной по-еврейски.

— Но я не умею. Я только понимаю. Почти все понимаю.

— Вспоминайте. Говорите, как умеете. Вы здесь единственный, с кем я могу разговаривать на своем языке. Доставьте мне такую радость!

Как было отказать товарищу по штрафной командировке! И я стал говорить с ним по-еврейски, запинаясь, подолгу вспоминая слова. Мой собеседник терпеливо ждал, изредка подсказывал. У лагерного костра мы садились рядом, и он рассказывал мне про свою незадачливую жизнь минского еврея. Он был ко мне внимателен, добр и однажды, недели через две после нашего знакомства, сказал:

— Вы даже не замечаете, что уже свободно говорите со мной по-еврейски!

Я действительно понял это лишь после его слов. И мне захотелось удивить его: не только беседовать с ним, но рассказывать о прочитанных книгах, петь песни моего детства, вспоминать праздники Пурим и Хануку... Но не успел. Меня скрутил скорбунт, полуживого меня увезли на головной лагпункт. Болезнь, розыски жены на неведомых лагпунктах Устьвымлага, известие о ее смерти, ежедневная борьба за выживание — все это разлучило

меня с человеком, вернувшим мне мой первый родной язык. Я не знал его дальнейшей судьбы, не помню его имени... И только сейчас, более чем через полвека, сидя перед генералом и выдавливая из себя забытые слова, я вспомнил, как однажды воскресал во мне еврейский язык. Который здесь, в Израиле, никто не называет еврейским.

Не сразу догадался я, что идиш для моего собеседника никогда не был родным языком, скорее более чужим и трудным, нежели арабский, нежели английский. Тем не менее мы старательно пытались объяснить на языке, ползнакомом обоим. И объяснились, и поняли друг друга. Я уж во всяком случае понял, сколь необычен этот разыскавший меня здесь человек.

С большой натяжкой мог я считать его своим земляком. Он родился не в Горках, а здесь, в Иерусалиме, в 1920 году. А вот родители его были горьцкими, они родились и жили в Горках до 1919 года, пока не уехали в Палестину. Очевидно, не только разорение и принадлежность к преследуемому классу погнали их не в ближнюю Европу и не в богатую и наполненную соплеменниками Америку, а в далекую, малоизвестную и нищую Палестину. Они выбрали этот путь еще и потому, что были неопитами-сионистами и ехали в Эрец Исраэль — на землю своих библейских предков. Тогда еще не было современного иврита, для них бытовым и единственным языком был лошен-кейдеш, в их доме никогда не звучал не только русский язык, но и идиш. И, как это было принято у первых сионистов, они и свою, с немецким привкусом, фамилию сменили на другую — библейскую.

— Гиндемман была их фамилия, — сказал мне потомок горьцких евреев.

Гиндеманы... А я ведь знал, помнил эту фамилию, она была достаточно известна в нашем маленьком городке. Гиндеманы были богатыми людьми не только по масштабам нашего города. Это были торговцы мануфактурой, у них на Дворянской улице был большой богатый дом, а в самой привилегированной синагоге на Синагогальной площади — собственные места.

Но что от меня хочет их сын? Ради чего он разыскивал и разыскал чужого человека из чужой страны, родившегося в чужом ему городе? Его объяснение удивило и тронуло меня. Он считает, что обязан показать своим детям человека, родившегося в том городе, где родились и жили их предки, куда уходит корнями их род... Он просит меня поехать с ним, познакомиться с его детьми. Я несколько растерялся: через час за мной должен был приехать мой друг Игорь Губерман, мне предстояла давно запланированная, приятная встреча.

— Через час я вас привезу сюда, — сказал генерал.

Мы спустились вниз, генерал сел за руль своего «мерседеса», и мы покатали в ту сторону, где широко раскинулась по горизонту великолепная панорама.

Генерал жил в Старом городе. Я, правда, уже успел побывать там не один раз. Маленький, он кажется огромным из-за смешения улиц, переулков, тупиков, храмов всех христианских конфессий, мечетей, синагог, лавок и лавочек, восточных базаров. Как почти во всех городах Европы, разложив товар на земле, продают свою нехитрую бижутерию негры. Расталкивая друг друга, движутся в разных направлениях немецкие туристы в шортах, арабы в белоснежных бурнуссах, ортодоксальные евреи в строгих черных костюмах с котелками на голове, а то и в лапсердаках и круглых меховых шапках — штромеле. Я, конечно, знал, что в этом необыкновенном городе живут и обычные люди. Об этом легко догадаться, потому что на свободных пяточках — как во всем мире — расчертили классики и играют дети, не пришлые, свои, живущие здесь.

Мы въезжаем через Яффские ворота, протискиваемся по узеньким улицам и крошечным площадям и останавливаемся на небольшой стоянке. Очевидно, она предназначена только для жильцов этого города и, судя по маркам машин, живут здесь не растерянные олим, недавно прибывшие в страну, и даже не обустроившиеся ватиким, считающиеся почти коренными жителями, ибо приехали сюда двенадцать — пятнадцать лет назад. Наверное, чтобы жить тут, надобно пребывать в каком-то другом, более высоком качестве. Старый город поделен на четыре квартала: христианский, армяно-христианский, мусульманский и еврейский. Мой спутник ведет меня по узеньким — разминуться трудно — извилистым улочкам еврейского квартала, останавливается у одной из дверей, открывает ее и пропускает меня вперед.

Квартира столь же необыкновенна, столь же поражает, как и весь этот город. Покрытый коврами пол из больших, отполированных временем каменных плит, сводчатые потолки, каменные винтообразные лестницы, комнаты на разных уровнях — настоящий восточный, очевидно арабский, дом.

— Ему триста лет, — говорит генерал. — Как и все дома в еврейском квартале, он был разрушен арабами во время Войны за независимость. А потом, когда мы в шестьдесят седьмом году освободили Иерусалим, дома здесь были восстановлены, я получил эту квартиру и живу в ней вот уже двадцать лет.

Он участвовал в самом кровавом сражении Шестидневной войны — сражении за Старый город, он и получил здесь кварти-

ру. Мы проходим через множество помещений разного назначения: зал, столовая, жилые комнаты. Все тут восточное: стены, диваны, низенькие столики, пуфы, ковры. Только кабинет хозяина совершенно европейского вида: книжные шкафы до потолка, видеотехника, компьютер, ксерокс, на огромном письменном столе рукописи и книги на иврите и английском.

А потом начинается самое поразительное. В кабинет заходит жена генерала, высокая, стройная и очень красивая женщина. Наверное, не ашкинази — не европейка. Красота ее — сефардская: Испания, Португалия, страны Магриба... На вид ей не больше сорока лет, она когда-то работала с приезжими олим и немножко понимает по-русски. Она рассказала мне, что у них семеро детей — пять мальчиков и две девочки. У старшего уже была бармицва<sup>1</sup> — ему тринадцать лет, самому младшему полтора года. Они стоят рядом — семидесятидвухлетний муж и сорокалетняя жена — оживленные, красивые. Я восхищенно смотрю на них, и мне кажется, что вот в таких, как они, и выражено прошлое и будущее этого государства.

А потом мать приводит в кабинет всех своих детей. Они обступают нас и все — от долговязого подростка до маленькой девочки — внимательно смотрят на меня. И столь же внимательно слушают отца. Мне, конечно, непонятно, о чем он говорит, могу только догадываться, что он рассказывает о своих родителях, об их предках, о далекой северной стране, где они жили и откуда через сотни лет, через много поколений вернулись на свою Святую землю. А потом, по старшинству, каждый генеральский ребенок подходит ко мне и протягивает руку. И каждому отец что-то говорит, показывая на меня. Дети смотрят на меня с напряженным вниманием, может быть, с почтением или волнением. И, выслушав отца, снова протягивают мне руку. Я растерянно и осторожно пожимаю эти детские, нежные, в цыпках и ссадинах ручонки. Потом генерал берет у жены самого маленького, сосредоточенно меня разглядывающего младенца, и я неловко глажу его пушистую беленькую (да, беленькую!) головку.

Я растерян и взволнован, и глаза мои полны слез от этой непонятной мне церемонии. Что это? Знакомство, благословение? В каком качестве я выступаю перед этими детьми, которые должны меня запомнить. Кто я для них? Все это проносится в моей голове, пока я торопливо отказываюсь от угощения, пока генерал записывает мне свой адрес, телефон, пока я прощаюсь с библейски красивой и библейски богатой хозяйкой этого почти библей-

---

<sup>1</sup> Бармицва — иудейский ритуальный обряд для мальчиков, достигших тринадцати лет.

ского дома. И в машине, везущей меня домой, не могу отделаться от этих мыслей и краем уха слышу, как мой новый знакомый говорит, что я обязательно должен снова приехать на нашу общую Святую землю, приехать к нему, чтобы он смог мне показать всю страну, отвоеванную у истории такими людьми, как его родители.

Эта скамейка — такая простая, провинциальная, совсем горькая — была главным местом, где я пытался привести в порядок мои новые, волнующие, трогательные и одновременно раздражающие впечатления. После поездки в Старый город к израильскому генералу я на своей скамейке часами думал о нем и о себе, о Горках и Иерусалиме. Что для него и для меня значил далекий и мало кому известный город — место моего рождения? Что нас с ним соединяло? Еврейство? Но Гиндеманы уехали из своего родного города в далекую страну именно в поисках еврейства. И еврейское прошлое, настоящее и будущее для генерала и его детей существовало не в старой России, а только здесь, в Израиле.

А для меня? Что для меня значат Горки? Около восьми тысяч жителей, пять церквей, семь синагог, три школы, один кинотеатр «Иллюзион»... Когда еще существовало наше родовое гнездо на Большой Ордынке — одна большая комната, где жила вся наша семья, — мы вспоминали город, откуда мы вышли, только когда приходили в гости земляки и родственники, когда застолье перебивалось смешными воспоминаниями, расспросами об общих знакомых и друзьях горьцкого происхождения. Этих знакомых и друзей становилось все меньше и меньше, расселялась наша большая семья, утончались и рвались связи с земляками, у каждого из нас появлялась своя самостоятельная судьба, в которой уже не было места воспоминаниям. Стали москвичами, ленинградцами, харьковчанами, уральцами и сибиряками те, с кем я в Горках дружил, играл, учился. Воспоминания о Горках и горьцких расплывались, тускнели и постепенно исчезали, вытесняемые другими, более важными и интересными мыслями и переживаниями.

Я почти никогда не думал об оставшихся в Горках. А там остались старые тетки, так и не вышедшие замуж, немощные старики, дальние и не очень дальние родственники.

Почему же я вспомнил об этих людях, когда их не стало, после того, как погибли они страшной, мученической смертью? И почему я не вспоминал о годах и людях моего детства, когда был благополучным, жил интересной и увлекательной жизнью?

И только этот израильский генерал вернул меня к моей давней отчаянной попытке сделать для моего ребенка то, ради чего чужой, родившийся в Палестине человек разыскал меня и привез к своим детям.

Вернувшись в Москву, я достал сохраненную судьбой, уже слегка потрепанную старую тетрадь. Прежде она была тетрадью-письмом. Я попробую ее сделать книгой, предназначенной не для одного человека — для многих, пожелавших ее прочесть.

Может быть, рассказ об этой непридуманной жизни будет интересен читателям своей непридуманностью. То есть — правдой. И — чтобы это было действительно правдой — я не стану ее улучшать, переделывать. Хотя мне стыдно перечитывать многие страницы. Да, я был тогда, более сорока лет назад, таким. И за эти десятки лет завершились судьбы тех, кого я идилично вспоминаю в письме к дочери. Я должен об этом написать.

И, сохранив себя таким, каким был сорок лет назад, сказать про себя теперешнего, восьмидесятипятилетнего, заканчивающего свою жизнь другим человеком — не таким, какого вспоминал зимними ночами в Усольяге.

Но ведь это мое право!..



21969 3

## ГОРЫ — ГОРКИ

**Т**ак называется маленький белорусский городок, в котором я родился и прожил большую часть своего детства. Города этого больше нет — немцы сожгли его при своем бегстве из Белоруссии. В 1944 году на том месте, где прежде стоял город моего детства, раскинулся большой пустырь, буйно заросший сорняками. Он сливался с лугами и лесами; отчетливо стали видны реки и речки, пересекавшие пустырь; никогда не просыхавшие городские лужи превратились в луговые болотца. И все это место напоминало плоскую географическую карту, на которой с трудом можно было представить знакомые улицы и строения.

Сейчас Горки опять застраиваются, снова, вероятно, появились улицы, деревянные тротуары, снова по берегам его рек выстроились маленькие кузницы и мельницы. Но это уже новый, совершенно незнакомый мне город. Я его не видел и не увижу. И когда я думаю о Горках, мне представляется лишь несуществующий теперь город, превращенный в дым и пепел. Но зато как он ярок и осязателен в моих воспоминаниях! Стоит лишь закрыть глаза, и я вижу его весь — от закопченных кузниц на Оршанской дороге до приземистой каменной бани на берегу маленькой, заросшей тиной и явором речки.

Я знаю, что следует критически относиться к воспоминаниям о детстве, окутанным тем флером времени, который сглаживает все неприятное, шероховатое и оставляет видимым лишь радужное, красивое, пленительное. И я делаю поправку на это. Но все равно очаровательна природа этого кусочка Белоруссии. На пологой равнине густо переплелись небольшие извилистые речки, заросшие водяными лилиями, теряющиеся в густом, зеленом до черноты яворе. Они текут спокойно и медлительно вровень с берегами, их зеленоватая вода иногда едва отличима от лугов, заросших мягкой, пахнувшей дождем травой. Беспорядочно разбросанными зелеными лентами кажутся поймы рек среди желтизны хлебов, голубых полосок льна, цветущей гречихи, соблазнительно схожей с теми пенками на молоке, которое подается дома к вечернему чаю. А на горизонте, куда ни глянь, темной, зубчатой стеною стоит лес. Издали он кажется мрачным и зловещим. При взгляде на него оживают все многочисленные расска-



зы о разбойниках, подстерегающих одиноких путников на узеньких лесных тропинках. Но стоит только войти в лес, как сразу пропадают все страхи — такой он спокойный, домашний, так знакомы и ласковы кусты орешника, высокие стволы кленов и берез, столько кругом цветов и ягод, что перестаешь верить в зло, которое может здесь случиться.

Город начинался незаметно, исподволь, от старой Оршанской дороги — шляха, обсаженного огромными, еще екатерининских времен березами. Почти двести лет эти деревья являлись объектом тиранства городских мальчишек, весной безжалостно изрезавших их ножами для добычи сладкого березового сока. Каждый год, как только березы покрывались молодыми и клейкими листочками, мы толпами устремлялись на шлях — со стаканами, кружками, нарезанными соломинками, через которые можно долго и блаженно сосать стекающий с деревьев холодный сладковатый сок. Совершенно непонятно, почему мы не избирали для этой цели бесчисленные березовые рощи вокруг города: считалось обязательным добывать березовый сок именно из столетних великанов на шляху. И деревья снисходительно относились к этим ежегодным истязаниям. Летом, покрытые многочисленными рубцами и шрамами, с корой, еще розовой от высохшего сока, они стояли незыблемые, высокие — величественные свидетели почти всей истории города. Впрочем, город был намного старше берез на шляху. В нем еще сохранились следы Петровской эпохи: под Горками во время русско-шведской войны стояли большим лагерем русские войска, и за городом до сих пор тянется длинный вал — остатки укреплений русской армии. Осевший, заросший желтой акацией вал стал любимым местом прогулок горожан, а узенькая тропка вдоль вала вела к Бабьему броду — излюбленному месту мальчишеских купаний. А на кладбище, в самой старой церкви города — деревянной, с гонтовым шатровым куполом — хранилось Евангелие, которое, по преданию, читал здесь сам Петр.

Два кладбища — русское и еврейское, расположенные одно напротив другого, как бы выполняли роль городских ворот: от них начиналось предместье. Если верно, что кладбище является выражением духа религии, то трудно было бы найти лучшее подтверждение этому, чем два соседних горечких кладбища. Русское было уютным, веселым, совсем не страшным: приземистые могильные холмики заросли густой травой, нехитрыми полевыми цветами. Все здесь было округлым, улыбающимся: невысокие березы, густая сирень, нарядные памятники. По воскресеньям и в летние теплые ночи оттуда всегда доносились смех, визг девушек, шепот парочек. И похоронное шествие, медленнодвигающееся к кладбищу, не вызывало у нас, детей, страха. Казалось, совсем не

страшно лежать в земле в этой веселой, зеленой роще, где на Пасху катают яйца, а летом мальчишки делают из стручков акации пронзительные свистульки.

Еврейское кладбище совсем не походило на своего соседа — даже зеленью. Щербатая кирпичная стена кладбища была обсажена высокими пирамидальными тополями. Их вершины качались и мрачно шумели всегда — даже в безветренные солнечные дни. И само кладбище, заросшее лопухами и колючками, тесно уставленное плоскими исписанными надгробными камнями и досками, было мрачно и безнадежно. Здесь не пели песен, не играли дети. Не пение, а вой и причитания женщин сопровождали мрачную и быструю церемонию еврейских похорон. И мы невольно бросались к воротам своих домов, увидев спешащую, почти бегущую похоронную процессию: черные носилки, на которых под черным покрывалом угадываются очертания зашитого в саван мертвеца. Служка похоронного братства идет впереди носилок, стучит в медную кружку и пронзительно провозглашает: «Здоке таце лымовес» — предложение жертвовать в пользу братства.

Для меня долгое время началом и концом города был перекресток, у которого стоял дом Минкиных, где мои родители снимали квартиру. Дом стоял в начале главной улицы города — Большой Оршанской. Окна его выходили на другую широкую улицу, скорее напоминавшую разъезженную сельскую дорогу. Перед домами и на задах были большие огороды, неподалеку виднелись деревья институтской рощи, от которой начинался Романовский шлях — шоссейная дорога в Романово — имение князей Дондуковых-Корсаковых. Все мои первые детские интересы были сосредоточены здесь, у перекрестка этих улиц. Налево за углом жили мои троюродные братья — ровесники и друзья, напротив была синагога, в которую ходили отец и старшие братья. Груши, яблони, сливы соседних садов соблазнительно свешивались над заборами, и при большом терпении можно было дожидаться, когда перезревшая груша или слива сочно шлепнется в пыль улицы, подобрать ее и, не давая себе труда оттереть, отправить в рот. А если поблизости никого не было, я осмеливался запустить в густую крону палкой, отбегал в сторону, глядя, как падает на землю моя добыча, потом быстренько собирал все и съед — пока не заметили взрослые.

Большая Оршанская имела все отличительные черты главных улиц российских уездных городов. Большинство домов на ней было обшито тесом и имело высокие крылечки с обязательными лавочками. Чем ближе к городской площади — тем улица становилась наряднее и приобретала все более городской вид. Деревянные тротуары делались шире, изредка появлялись кирпичные

дома, принадлежавшие богатым еврейским купцам, и, наконец, улица переходила в городскую площадь — центр всех материальных и духовных интересов горожан, в особенности мальчишеского населения города. Напротив Базарной площади стоял длинный каменный дом — единственное двухэтажное здание в городе, если не считать тюрьмы и института. В этом доме помещались Дворянское собрание, городской ресторан, библиотека, местный театр — словом, почти все культурно-увеселительные учреждения. На Рождество в зале Дворянского собрания устраивалась елка, в один из дней сюда приглашали детей мелких служащих, приказчиков, даже рабочих немногочисленных предприятий города. Один раз и меня отец повел на елку, и много лет после этого никакие другие впечатления не могли вытеснить воспоминания об огромной елке, обвешанной золочеными орехами, блестящей канителью и стеклянными игрушками, потрясшими детское воображение. Забыть это было невозможно, и даже несколько орехов да небольшой ватный ангелочек, врученные мне толстой дамой с широченным ртом, набитым зубами, не успокоили сердце, распаленное недоступной прелестью елочных украшений.

От Дворянского собрания начиналась Базарная площадь — самое веселое и интересное место в нашем городе. Правую часть площади занимали две большие деревянные церкви, стоящие рядом и обнесенные узорчатой кирпичной оградой. Налево от церквей — пожарная каланча с вышкой и большим флагштоком, на котором вывешивались пожарные сигналы. Различать эти сигналы в обязательном порядке должны были все мальчишки, начиная с четырех лет.

Вдоль всей площади тянулись несколькими линиями торговые ряды. В бесчисленных мелких лавчонках продавались, главным образом, булочки, сладкие лепешки — кухолы и разнообразная, неопределенная мелочь, именуемая бакалеей. Ассортимент такой «бакалеи» состоял из нескольких бутылочек с уксусом, баночки с перцем, спичек, большой жестяной коробки леденцов «Ландрин и К<sup>о</sup>» да еще любимого лакомства детворы — рожков: коричневых твердых стручков, прельщавших не столько сладостью, сколько экзотичностью происхождения — мы знали, что они из каких-то жарких, полусказочных стран. Торговый оборот этих полунищих лавчонок был ничтожен, и трудно было понять, что же заставляет еврейских старух просиживать в них целый день. Старый еврейский анекдот про торговку, которая утверждала, будто каждый день торгует себе в убыток и едва сводит концы с концами лишь потому, что в субботу ее предприятие закрыто, почти точно определял экономический базис подобной торговли.

Захватывающе интересна была Базарная площадь в воскресные и праздничные дни, заполненная людьми, заставленная возами с высоко задранными к небу оглоблями. На возах, на рядах и рогожах, навалены самые разнообразные товары: цветастые горшки и глечики, блестящие глазурированными боками; берестовые сита, полные земляники и малины; груды яблок, груш и слив; лубочные картинки, яркие сытинские книжки, иконы и медные крестики. Толпа на площади так густа, что продвигаться в ней можно с трудом, продавливаясь одним плечом. И тем не менее — в этой толпе цыгане продают лошадей, страшно крича, непрерывно хлопая грязными смуглыми ладонями о ладонь растерянного покупателя. Рядом, при активном участии соседей и просто любопытствующих, еврейка покупает корову. Нищие у церковной ограды на одной ровной и безнадежной ноте выводят не то псалмы, не то подобие песни, в которой больше стонов, чем слов. Над большой площадью стоит гул, слитый из человеческих голосов, мычания скота, звона колоколов, пронзительного свиста глиняных свистул.

В этой толпе немного страшно, но очень интересно. Интереснее всего, конечно, постоять у воза, на котором продаются книги, портреты царя — отдельно и в окружении его многочисленного семейства. Ловкий продавец надрывается, выхваляя свой товар. Стоит только какому-нибудь зеваке проявить интерес к любой книге, как перед его глазами начинают мелькать картинки, переворачиваться страницы. Офеня впивается в покупателя с такой силой, что избавиться от него можно, только купив какую-нибудь нелепую картинку о том, как солдат Петра I спас. Или наоборот, царь солдата. На нас, мальчишек, продавец почти не обращает внимания, и за час-другой мы можем совершенно бесплатно налюбоваться всеми богатствами, которые он разложил на возу.

Между пожарной каланчой и богадельней, приткнувшейся к углу Базарной площади, проходит узенький и короткий переулок. Стоит лишь войти в него — и сразу стихает базарный гомон. Через несколько домов переулок кончается, и перед глазами возникает большая пустынная площадь. Всего несколько десятков шагов отделяют ее от базара, но она настолько другая, что кажется перенесенной с чужой планеты, даже почва иная — не мягкая пыль или чвакающая под ногами грязь базара, а жесткий, крупный песок с булыжниками и валунами. Площадь окружена длинными, почерневшими от времени деревянными зданиями. Над широкими окнами, над нарядными крыльцами укреплены ажурные, вырезанные из дерева шестиконечные звезды — Могендовид. Это — синагоги. И песчаный пустырь называется Синагогальной площадью. Прямо от нее круто катится вниз улица. Деревянные тротуары здесь сломаны, проезжая незамощенная часть

улицы напоминает дно оврага, размытого потоками, с ревом несущимися после каждого дождя. Почти на всех домах этой улочки висит заржавленная вывеска, гласящая о том, что в доме «варшавский портной принимает заказы, а также шьет офицерам и стацким». В окнах видны сторбленные фигуры с поджатыми ногами, сидящие на столах, с мелькающей иглой в руках, и облупленный манекен в глубине комнаты выглядит обезглавленным трупом. Все эти портные «варшавские», хотя родились и безвыездно прожили всю жизнь в Горках. Когда я уже научился читать и встречал в газетах или книжке слово «Варшава» — мне долго представлялся огромный город, весь состоящий из таких вот покосившихся домов, где в каждом у окна сидит чахлый портной в ермолке и шьет, шьет, шьет...

Но портные, жившие на этой улице, были аристократами среди других ремесленников города. Внизу, у самой реки Прони, на ее вязких илистых берегах примостилось множество домов, не пытавшихся даже сгруппироваться в подобие улиц. Это место называлось Глинице. Жила здесь самая отчаянная городская беднота — сапожники, жестянщики, люди со странными и печальными профессиями — обмывальщики мертвецов, плакальщицы, городские нищие, городские сумасшедшие. Последнее занятие считалось в городе тоже профессией — почти ничем не хуже любой другой. Бугристая, никогда не просыхающая почва Глиница была завалена обрывками кожи, вываренными костями, внутренностями животных, дохлыми кошками — все это раскисало, разлагалось, распространяло какую-то особую вонь, которой настолько пропахли все жители Глиница, что их легко было опознать по одному этому запаху.

От моста через Проню начиналась Слобода. Вместе с другим предместьем — Заречьем — она составляла русскую часть города.

В Горках были и другие места и улицы — разные по своему характеру, назначению и населению. Была обычная в каждом уездном городе Дворянская улица, заселенная не столько дворянами, сколько состоятельными евреями; была Солдатская слободка у маленькой каменной тюрьмы; был городской бульвар с кинематографом. И, наконец, украшение и гордость города — старинный сельскохозяйственный институт, стоявший в глубине огромного красивого парка. Много интересного было в этом городе, который я открывал постепенно, шаг за шагом, с каждым месяцем и годом моей жизни.

Вспоминая в тишине лагерной конторы родной город, я был уверен, что никогда его больше не увижу и он останется в моих воспоминаниях тем моим, единственным и настоящим. Наверное, лучше было бы, если оно так бы и случилось. А все же я его увидел еще раз.

Году в семьдесят пятом в Минске происходило очередное Всесоюзное совещание, посвященное детской литературе. Естественно, что толка от подобных мероприятий, проводимых с большим размахом, не было никакого, кроме одного: можно было встретиться со многими хорошими и талантливыми людьми, пишущими для детей и живущими в разных концах огромной страны, называвшейся тогда СССР. Праздником в моих воспоминаниях остались эти встречи с людьми, которых я любил, с кем дружил.

В Минске я был впервые, вновь через десятки лет услышал белорусскую речь и вдруг понял, что это язык моего детства, что Белоруссия — страна моего рождения, а стало быть, и счастливых лет моей жизни. Я пережил настоящий и неожиданный приступ ностальгии. Наверное, это сказалось и на моем выступлении, которое я начал с того, что родился здесь, на Могилевщине, и не был в родном городе пятьдесят три года...

После заседания улыбающийся и доброжелательный хозяин — Максим Танк — сказал мне:

— Знаете что, съездите на родину, я вам машину дам.

Мы с Рикой забрались в «рафик» и двинулись в путь через всю Белоруссию. Впервые я ее увидел такой. Был июнь, мы ехали по превосходной дороге (все дороги в Белоруссии строились как «стратегические», и оченьгодились немцам в 1941 году). Обочины окаймлены зарослями лиловых lupинов, дубовые леса настолько непохожи на северную тайгу, что я себя чувствовал в другом мире. Остановились пообедать в Могилеве. Я обошел бывшую царскую ставку в губернаторском доме, зашел в уцелевшую церковь, прошелся по улицам, на удивление сохранившим — после советизации, войны, оккупации и архитектурного разбоя — следы дореволюционного губернского шика.

Потом промелькнула Орша, и через сорок километров — Горки... Мы въезжали в город не по старому Екатерининскому тракту, а через Слободу. Она, как и прежде, была деревянной, маловыразительной и, казалось мне, узнаваемой. Я всматривался — сейчас будет Проня, мост через нее, Глинище, крутая гора, ведущая к центру города...

Но ничего этого не было. Не было полноводной, заросшей явором и кувшинками реки, остался только грязный полувисокий ручей. И не было моста — только насыпная дамба. И не было Глинища, разномастных домов среди обрезков кожи, отходов жести, кузнечного

шлака и отбросов. На их месте, на болотистой луговине, стоят пять-шесть стандартных домов. Машина остановилась у развалившихся каменных ворот, я их узнал, они когда-то вели в институтский парк.

— Что ты, что ты! — Рика схватила меня за руку, наверное, услышав, как у меня забилось сердце.

Да, это был мой город, но, как в смутном сне, я ничего не узнавал. Даже планировка города была совсем другой, от старых Горок осталось всего две улицы, которые когда-то назывались Оршанской и Дворянской. Вот я иду по Дворянской улице — там был некогда дом, где мы жили после приезда из Касимова, а здесь — бульвар, и тот самый «Иллюзион», где мы смотрели фильмы с Верой Холодной и Максом Линдером, где происходили турниры французской борьбы. Теперь там, на пустыре, торчало несколько чахлах деревьев. На углу Дворянской когда-то стоял большой кирпичный дом, где жили галантерейщики Винокуровы. Он уцелел, подштукатурен, там сейчас детская библиотека. Зашел — я всегда захожу в библиотеки. Под недоуменными взглядами библиотекарей полистал журналы на столах, прошелся вдоль полок. Остановился у буквы «Р» — смешно: стоят несколько моих книг.

Потом вышел на главную улицу — Оршанскую. Совершенно незнакомая улица, опротивевшие пятиэтажные дома, одинаковые, как спичечные коробки. Не булыжная, а асфальтовая мостовая; не неустойчивый деревянный тротуар, а выщербленный асфальтовый. Нет старых площадей, нету! Нет центральной Базарной с пожарной каланчой, рядами лавок, двумя большими церквями. Нет Синагогальной площади с тремя синагогами и религиозной школой; нет заборов, за которыми бескрайние сады. Нет зелени, в которой утопал город, ныне серый и чужой.

Я всматриваюсь в лица проходящих мимо людей, по-идиотски надеясь увидеть знакомое лицо. Нет знакомых лиц, ни одного. Есть негры. Множество негров, невесть откуда занесло их на улицы Горок, где мы об их существовании знали только из книг. Ах, да, — здесь же Белорусская сельскохозяйственная академия, там учатся студенты из развивающихся стран.

Мы быстро прошли по этой незнакомой улице, застроенной стандартно-безликими домами. И остановились у знакомой развилки. Там стоит один — единственный сохранившийся! — одноэтажный деревянный домик. Дом Минкиных — здесь жила наша семья перед отъездом в Касимов в 1915 году. Дом такой же, того же

цвета. Но я не хочу, мне страшно туда зайти. Я не решаюсь даже открыть калитку и заглянуть во двор, где знал каждый уголок. Не надо, не надо — все чужое, все не то!

Что еще осталось? Кладбище? Оно неподалеку: пройти по старому шляху, когда-то тянувшемуся между столетними березами, а теперь застроенному тоже скучными домами, и вот они — два кладбища: друг против друга. На русском кладбище нет уже стариннейшей деревянной церкви, где Петр I читал Евангелие; нет прежнего обихоженного сиренево-жасминового уютя; нет старых высоченных деревьев с галочьими гнездами. Теперь кладбище какое-то другое, аккуратное, безликое, никакое — как весь город.

А еврейское? Еврейское кладбище тоже совсем не такое, каким было тогда, пятьдесят три года назад. Старая ограда почти вся разобрана на кирпичи, а за ней — утоптаный пустырь с несколькими десятками плоских скучных еврейских надгробий: некоторые, покосившись, еще стоят, некоторые повалены, остальных просто нет, — они стали фундаментами новых домов.

А в дальнем углу кладбища — ров. Бывший ров. Теперь это длинная насыпь, полuzаросшая травой и чертополохом. Засохшие, кем-то давно положенные цветы. И небрежно сбитый фанерный монумент со звездой и надписью, что здесь похоронены убитые фашистами в 1941 году советские граждане.

Сюда их привели, тут их убили, тут их закопали. Тетю Хаю с мужем, тетю Гиту с дочерьми Верочкой и Саррой, с девочками-внучками, моих школьных товарищей и соседей — Муравиных, Вильнеров, Хаитов, Гольдбергов... Тут похоронено все мое детство, весь мой — без остатка — родной город. И мне тут нечего больше делать. И Рика тянет меня за рукав:

— Не надо, ну не надо! Поедем.

И мы уезжаем. Навсегда. Больше я сюда не вернусь. Пусть живет во мне не этот, а другой город, город моего детства, моей навсегда сохранившейся любви.



21969 4



## ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

**Я** помню себя с раннего детства. Первые впечатления очень яркие, но обрывистые, и живут в памяти обособленно друг от друга. Одно из них — пожар. До сих пор отчетливо помню: отчаянные крики, зарево — горят соседние дома, мать хватается меня на руки и бежит по горящей улице к живущим неподалеку родным. Я сижу в кроватке своего сверстника — троюродного брата Немы и прислушиваюсь к гулу набата, крикам, треску огня — к новым для меня страшным звукам пожара. Мне было тогда два года. К этому же возрасту относится и другое воспоминание: оживленный разговор взрослых, переходящая из рук в руки газета, на которой в черной рамке помещен портрет сурового насупившегося старика с седой, разбросанной бородой. Так я запомнил смерть Толстого. И помню, как однажды ночью к нам в окно постучали и чей-то голос, взволнованный до отчаянья, закричал: «Оправдали!». И сразу в доме все проснулось, повскакали, в окнах соседних домов тоже зажегся свет — казалось, весь город очнулся от этого нового для меня, непонятого слова. Это был конец пресловутого «дела Бейлиса», завершения которого с огромным напряжением ждало все еврейское население Горок, как, впрочем, и всей России. Из других впечатлений первых лет особенно сильно запомнилось празднование трехсотлетия дома Романовых. Последний праздник погибающей династии был необыкновенно пышным. Помню трехцветные флаги, парад «потешных» на площади, городского голову Трусова в парадной треуголке и камер-юнкерском расшитом золотом мундире, помню иллюминацию — колышущиеся на ветру огни плашек на зданиях почты и Дворянского собрания.

Я плохо запоминаю людей. Мне приходится иногда мучительно напрягать память, чтобы вспомнить фамилию человека, его лицо, голос. Зато необыкновенно ярко и зримо в моей памяти живут поля,

перелески, леса, улицы, дома. Места, где я бывал, не только памятны мне, я привязан к ним, по иным я скучаю и тоскую, как по любимым и близким людям.

Мой старый город я увидел последний раз в 1925 году. Я побывал там и гораздо позже — но это уже был другой, чужой город. А тогда, в 1925 году, прожив уже два года в Москве, оглушенный новыми впечатлениями, я все равно тосковал по милым местам моего детства. И вот один — впервые на положении взрослого — я поехал в Горки. Ранним летним утром я сошел с поезда у новой, еще не успевшей почернеть от дождей железнодорожной станции. До города было километров пять, извозчик неторопливо вез меня по мягкой пыльной дороге и рассказывал городские новости: кто умер, кто женился, чей дом сгорел. Но как это мне ни было интересно — я его плохо слушал. Я жадно всматривался в знакомые до последней мелочи окрестности: вот мшистые пятна на больших валунах, вот здесь я удирал от слободских мальчишек, за этой рощей я пас коров, под мостом этой речки я пробовал делать нитроглицерин по рецепту, заимствованному из «Таинственного острова» Жюль Верна. Город еще спал, когда мы подъехали к дому дяди Миши. Я быстро вбежал во двор, дверь в дом была заперта и страшное нетерпение вдруг охватило меня. Я положил чемодан на крыльцо, тихонько вышел со двора, закрыл за собой калитку и побежал по городу.

Я обежал его весь: обе главные улицы, институтский парк, рощу, постоял у школы, где я учился, прошел через Солдатскую слободку. Все было так, как раньше. Только улицы стали чуть короче, ярк и роща не казались такими большими и густыми: все, что раньше составляло огромный, заполненный напряженной жизнью мир моего детства, сдвинулось, стало компактным и маленьким. Город просыпался, из ворот выгоняли коров, пастух с длинным кнутом через плечо сидел на крыльчке и играл на рожке. Я посмотрел на часы — всего за сорок минут я обошел весь город своего детства. Этот мир стал не таким огромным, но не утратил своей прелести.

Говорят, что у кошек память сосредоточивается вокруг мест их жилья. Вот и я — как кошка. Когда думаю о милых мне людях, я обязательно должен их представить себе в интерьере дома, на улице, в парке, в лесу. Однажды долго-долго я стоял в Ленинграде на Каменноостровском проспекте у высокого дома, в котором родилась Оксана, моя первая жена. Я стоял у ограды, смотрел во двор и представлял себе похожую на нашу дочь маленькую девочку, некогда игравшую здесь. И чужой, незнакомый дом вдруг сделался понятным, близким, я с трудом заставил себя уйти.

Если моей дочери, в силу какой-нибудь дикой случайности, придется побывать в Горках — может быть, ей захочется сквозь наложение новых домов и улиц мысленно увидеть те места, где впервые с любопытством и наслаждением познавал мир ее отец. И тогда мой теперешний рассказ достигнет своей честолюбивой цели. Потому что ведь человеческое честолюбие и сводится к желанию жить в памяти людей. Мне не удалось жить со своей дочерью, и тем сильнее поэтому мое стремление жить в ее памяти.

21969 5



## ОТЕЦ

**Ч**итатели русских газет и журналов начала нашего века на всю жизнь, наверное, запомнили назойливо вбиваемое в голову название «Крем Казими-метаморфоза». На каждой последней странице большинства газет и журналов — от «Вестника Европы» до «Сатирикона» — среди объявлений и реклам обязательно бросались в глаза эти слова над изображением бассейна, в котором резвились полуобнаженные одалискообразные женщины и мужчина, лицо которого было аккуратно разделено пополам. Одна половина блистала свежестью и чистотой, другая — от множества веснушек — напоминала кукушечье яйцо. Это была реклама крема против веснушек, «единственного крема, удаляющего все веснушки на лице и руках» — как гордо сообщало рекламное объявление. То ли крем действительно был «единственным», то ли реклама его была мастерски поставлена, но крем «Казими-метаморфоза» был чрезвычайно популярен в предреволюционной России.

И мало кто знал, что эти тщательно упакованные нарядные баночки с необыкновенно приятным своеобразным запахом изготавливаются в незаметном городке Могилевской губернии — Горы-Горки. Разорившийся польский шляхтич Казимир Падзерский, вынужденный стать провизором в маленьком и грязном белорусском городке, благодаря изобретению крема против веснушек составил себе большое состояние и приобрел громкую славу среди ревнителей белой, не тронутой загаром и веснушками кожи. Он построил в Горках прекрасный большой каменный дом, украсил его фламандскими картинами, редким фарфором, музейными коврами — он имел вкус к вещам, этот шляхтич, — и с удовольствием отдался страсти к приобретению. Позади дома он разбил огромный сад с редкими сортами фруктовых деревьев, цветниками, фонтанами, золочеными клетками, в которых разгуливали павлины.

Все эти блага добывали для него люди, работавшие в длинной полуподвальной мастерской во дворе. На рекламных объявлениях была нарисована «Перфюмерная фабрика Казими-метаморфоза» — многоэтажная, с длинной, тонкой трубой, из которой шел игривый завиток дыма. Все это было неправдой. В действительности «фабрика» была кустарной мастерской, в которой трудились всего несколько десятков рабочих. Одним из них был мой отец.

У моего старшего брата Соли — хранителя семейных реликвий и фотографий — был старый фотографический снимок: на нем все, кто делали крем «Казими-метаморфоза». В центре, в окружении мастеров и наиболее приближенных рабочих, сидит сам Казимир Падзерский. Поодаль от него сидят и стоят рабочие победней. Среди них — отец: молодой, с закрученными усами, с ясными, живыми глазами за стеклами очков, в грубом брезентовом фартуке. Место его на фотографии довольно точно определяло и его положение на фабрике Падзерского. Он был рабочий-упаковщик и не допускался к тщательно охраняемому хозяином таинству смешения масел и духов, из которых составлялся знаменитый крем. Тем не менее запахом этого крема отец был пропитан до того, что даже пасхальные омовения и праздничная одежда не могли его приглушить. И этот запах неизменно связан с моими воспоминаниями об отце.

Отца я любил страстно. Он был моей первой привязанностью, к нему я питал какое-то особое чувство, сродни обожанию. Каждый вечер был праздником — потому что приходил с работы отец, и жизнь сразу становилась интересной, вкусной, еще вкуснее, чем днем. Он приходил усталый после долгого рабочего дня, но для детей всегда находил улыбку, ласковое слово, а то и конфету, пропахшую запахами крема против веснушек. Его легко было уговорить помочь изготовить лодку из сосновой коры, сыграть на флейте, просто походить с нами по тихой вечерней улице.

Моя пылкая и восторженная любовь к отцу вызывала удивление и снисходительные насмешки взрослых. Бывало, мать, уходя в гости, отведет меня к знакомым и уговорится с отцом, что тот зайдет за мной. Я сижу в большой комнате, среди знакомых и полужнакомых людей и чутко вслушиваюсь в наступающий вечер, в шаги на улице. И злые взрослые догадываются, почему я молчалив и настожен. Какой-нибудь шутник обращается ко мне и с удивлением в голосе говорит: «А ты все отца ждешь, мальчик? Не жди — его повесили на перегорелой соломинке». Я знаю, что это шутка, что моего большого и доброго отца нельзя повесить на соломинке, да еще перегорелой. Но чем больше я думаю об этом, тем страшнее делается от одной только мысли, что отца могут повесить — пускай хоть на соломинке. Я начинаю плакать. Ни громкий смех, ни шутки окружающих не могут меня успокоить. Я плачу все громче и громче, в какой-то тайной уверенности, что чем сильнее я буду плакать, тем скорее увижу отца. Слезы заливают мое лицо, праздничную курточку, и, когда мои рыдания, несмотря на все попытки хозяев успокоить меня, становятся совершенно безудержными, я слышу, как открывается дверь на кухне, слышу знакомое покашливание, шарканье вытираемых ног и бегу навстречу отцу. Меня окутывает родной и милый запах крема «Казими-метаморфоза», я прижимаюсь к от-

цовским коленям и плачу еще сильнее — на этот раз от счастья, что он здесь, со мною, и навсегда со мною будет. Натруженные, заскорузлые руки отца гладят меня нежно и осторожно, он приподнимает меня, я слышу его укоризненный голос, но уже не в состоянии отвечать — я выбился из сил от плача. Спокойная, счастливая сонливость одолевает меня, и я уже чувствую, как отец бережно уносит меня домой.

Среди моих многочисленных родственников отец имел не слишком завидную репутацию человека, не хватающего звезд с неба, не умеющего найти легкую работу, обеспечить семье сытую и безбедную жизнь. Таково было отношение еврейской мещанской среды к человеку, не пытавшемуся стать ни маклером, ни ремесленником, избравшему для себя профессию рабочего.

Думая об отце — а я о нем сейчас очень часто и много думаю, — я прихожу к заключению, что чертой, наиболее ярко в нем выраженной, было чувство долга. Жизнь представлялась ему несложной, но требующей упорства и преодоления. И он преодолевал ее молча, не отступая от правил, раз и навсегда принятых. Каждое дело, за которое он брался, он делал медленно, но основательно, не ловча, не хитря. Он был хорошим семьянином, очень любил своих детей и считал себя вечным их должником. Чтобы заработать на хлеб детям, обути и одеть их, он готов был копать канавы, чистить улицы, выполнять самую черную работу. И он ее делал — без жалоб, молчливо, как должное.

По всем понятиям среды, из которой он вышел, отец мог сделать себе «карьеру» при советской власти. Его родные были крупными работниками, с первых же лет революции отец шел всегда за большевиками. И тем не менее он не стал «комиссаром», не носил кожаной куртки, не выступал на митингах — он остался таким же рабочим, как и раньше. В начале тридцатых годов отец работал на фабрике в Москве и был одним из самых уважаемых людей в своем коллективе, избравшем его в Московский Совет. Но и здесь он оставался таким же тихим и скромным человеком, незаметно делающим свое дело. В самые трудные годы я никогда не слышал от него ни одной жалобы. Году в тридцать втором — тридцать третьем, когда в Москве было очень голодно, я прибегал в родительский дом (я жил тогда уже отдельно) и немного удивлялся, что родители мои похудели, побледнели, что мои любимые блюда, которыми неизменно угощала мама, стали более постными, не такими вкусными, как прежде. И только тогда, когда получил кучу каких-то пайков и принес их маме, я узнал, что много месяцев родители мои не видели мяса, не ели ничего, кроме скудного рядового пайка тех трудных лет.

Как и большинство людей, отец мой был честолюбив. Но это честолюбие проявлялось в одном — в гордости за своих детей.



Он никогда не вмешивался в нашу жизнь, предоставлял нам полную самостоятельность и в то же время страстно, с любовью и гордостью следил за нашими первыми жизненными успехами. Журнал с моей статьей, газету, в которой говорилось о работе другого сына, Соли, он всегда клал на видное место и сердился на маму, когда она их убирала во время уборки. Он любил выпить, мой отец, и тогда в кругу родных и друзей любимой темой наивного хвастовства были его дети.

Думая сейчас об отце, поражаюсь душевному отупению, овладевшему мной позже, в самостоятельной жизни. Как я любил отца в детстве и как отвратительно равнодушно и снисходительно обращался с ним, став взрослым. До сих пор не понимаю природы этого!

Как все в нашем роду, отец был радикально настроен. В юности, до женитьбы, увлекался политикой, был членом «Бунда», а уже очень немолодым, обремененным большой семьей, в 1924 году, в «Ленинский призыв» вступил в партию. Почему? Не корысти ради. Всю жизнь до самой смерти он был рабочим и никогда не пытался изменить свой социальный и общественный статус.

Отец, при всем своем вольнодумстве, был по натуре глубоко верующим человеком. Марксизм-ленинизм ему заменил не созревший в нем иудаизм. Был он не очень грамотным, книги читал редко, но в свободные часы брал «Азбуку коммунизма» Бухарина и Преображенского и читал — медленно, про себя, шевеля губами. Часто он не понимал какой-нибудь марксистско-теологический термин и робко обращался к Соле или ко мне за разъяснениями. И мы быстро, как надоевшему школьнику, объясняли, что и как, торопясь в ячейку, в театр, на диспут. И убегали, слыша за спиной тихое, будто виноватое покашливание отца.

С партией он расстался так же спокойно и обдуманно, как вступил в нее. Он был уверен, что вступает в партию, добивающуюся равенства для всех людей. Свое положение в обществе он считал нормальным, но не мог понять, почему утверждение справедливости должно сопровождаться жестокостью. Он был убежден, что рабочий класс делает революцию, чтобы жить лучше и справедливее. Жизнь неумолимо выбивала из него эту убежденность. И когда его начали таскать по райкомам — ибо уже два сына сидели в тюрьме, а два любимых племянника были расстреляны, — он наивно и убежденно говорил людям за казенным зеленым сукном:

— Мы же не для того делали революцию, чтобы наших детей сажали в тюрьмы.

И однажды вынул из кармана бережно хранимый им, как икона, партбилет, положил на стол и ушел.

А когда его любимый сын в отчаянье воскликнул: «Как ты мог так спокойно расстаться с партией? Вспомни, с какими трудом тебя принимали из-за того, что ты был бундовцем!» — отец со своим обычным спокойствием ответил:

— Сынок! Так я же из этой партии вышел! А вступал тогда в другую, совсем другую...

Ну, да, он так думал, так думали тогда многие, стараясь обмануть себя, защитить свою совесть, свое сознание.

Теперь, когда кости моего отца лежат в давно уже исчезнувшей могиле маленького татарского городка Билярска, я вспоминаю его часто с грустью и жалостью. Ну зачем этот добрый и очень хороший человек оказался втянутым в дьявольский хоровод? Мы — его дети — понятно еще почему, мы согрешили, мы за это расплатились, а он-то зачем?!

Он писал мне в лагерь каждую неделю. Каждую неделю я получал большой, вырванный из конторской книги лист бумаги, исписанный крупными буквами, не очень грамотно. Отец сообщал мне о всех домашних новостях, о моей дочери, о том, что меня все и всегда любят и ждут. По-прежнему в его письмах чувствовалась неиссякаемая и огромная любовь к своим детям, гордость за них. Когда Соля стал профессором и вышла его книга, отец мне обстоятельно описал и толщину книги и цвет обложки, и цену, и то, что на титуле перед фамилией автора стоит звание — профессор. С прежней аккуратностью он продолжал мне писать и в военные годы, из эвакуации. Последнее письмо было написано за десять дней до его смерти. Смертельно больной, он настойчиво и упорно уговаривал меня жить, цепляться за жизнь, выжить, чтобы увидеть лучшее, испытать счастье, которого он добивался для своих детей — мой добрый, мой хороший отец!



21969 6

## МАТЬ

**М**ать моя была человеком с совершенно другой духовной конституцией, нежели мой отец. Насколько ясны, прямолинейны и открыты были душевные помыслы и поступки отца — настолько же сложна и глубоко спрятана от людей была духовная жизнь матери. С тех пор, как себя помню, я всегда все понимал в своем отце: сердится он или радуется, чему он радуется, на что сердит, как относится к людям, явлениям, событиям — все мне было понятно. И с этих же лет меня никогда не оставляло ощущение того, что я не в силах проникнуть в душевную жизнь матери, разгадать ее мысли, ее желания.

Бывало, в субботние кануны я остаюсь один с мамой дома. Отец с двумя моими старшими братьями Солей и Ильей ушел в синагогу. В доме уже все чисто, прибрано, грядет царица-суббота. Я сижу в углу, притихший, и меня удивляет и обижает, что мама, обычно такая ко мне внимательная, не замечает меня. Она сосредоточенно и медленно — совсем не так, как всегда — достает из комода праздничную скатерть, накрахмаленную, с пышной бахромой, стелет ее на стол, вставляет в подсвечники новые свечи, зажигает и останавливается в задумчивости перед ними. Я смотрю на маму внимательно, стараясь понять: что в ее лице появилось нового, совершенно для меня незнакомого? Она стоит перед горящими свечами в праздничном платье с кружевной наколкой на голове, ее молодое лицо напряжено от какой-то внутренней духовной работы; лоб ее то собирается в морщины, то разглаживается; губы шепчут что-то мне непонятное. Она разводит руками над пламенем свечей, закрывает глаза, и на скатерть, оставляя большие мокрые пятна, падают слезы. Мама беззвучно плачет, и мое детское сердце трепещет от волнения. Так же трепещет оно и сейчас, когда я вспоминаю эти вечера.

О чем она плачет, моя мама, чего она просит? Счастья ли своим детям, удачи ли в жизни — какой смысл вкладывает она в эти слова? Мне это было неизвестно в детстве, мне это неизвестно и сейчас, когда приходит в концу жизнь моей мамы и когда я сам уже близок к этому рубежу.

Мама была очень умна. С молчаливым уважением это признавали все, кто ее знал, даже в девичьи ее годы. Всегда к ней ходили за советами по самым разным жизненным вопросам женщины даже с отдаленных улиц. Считалось, что она обладает какими-то редкими способностями, знает секреты лечения некоторых болезней.

Не только незаурядный природный ум, но и большие духовные запросы выделяли мою мать среди женщин ее круга. Мама много читала, еврейскую литературу она знала в совершенстве, великолепно владела литературным еврейским языком, и ее письма служили образцом эпистолярного искусства. Она не только знала огромное количество еврейских народных песен, но и сама сочиняла песни. И, уже будучи взрослым человеком, я с удивлением узнал, что некоторые песни, услышанные в детстве от посторонних людей, сочинены мамой еще до ее замужества. Любовь к книгам, к песням она стремилась привить и нам, своим детям. В длинные зимние вечера, когда мы вынуждены были сидеть дома (у нас не было обуви), мать подолгу читала нам Шолом-Алейхема, Переца, Менделе Мойхем-Сфорима — читала она по-еврейски необыкновенно выразительно и красиво, выделяя не только мысль писателя, но и поэзию, красоту его слова.

К концу своей жизни мама была больной, раздраженной, страдающей от того, что жизнь сложилась неудачно, даже трагически. Трагедия состояла не только в том, что дети ее разбрелись, что их сажали в тюрьмы, держали в лагерях, что старость оказалась одинокой и тоскливой, рядом была только внучка, не желавшая считаться ни с интересами, ни с привычками старой бабушки. Нет, трагедия маминой жизни была глубже. Все духовные интересы ее были тесно связаны с умирающим миром еврейской культуры. Только этот мир был ей понятен и ею любим. В своих песнях мама воспевала поэзию еврейских праздников, религиозных традиций, национального единения евреев. «Нас угнетают, мы странны и смешны другим людям и народам, но зато мы цари, когда объединяемся, мы богаты, потому что у нас есть Песах, наши молитвы, наши песни» — так говорится в одной из маминых песен.

Замужество и последние долгие годы забот о семье, детях, их болезни, нужды, необходимость защитить их от голода почти лишили ее той духовной жизни, которой она жила прежде. Тщетно пыталась она привить нам любовь к тому, что было любимо ею. Бездна была ее борьба с могучей машиной жизни, и маме пришлось увидеть, как все, что ей было дорого и близко, становилось ненужным, чужим и смешным для того круга людей, в котором она жила и вне которого у нее ничего не было.

Пыталась ли она сопротивляться этой чужой для нее жизни, чужим и враждебным ее натуре интересам? Нет, конечно. И не потому, что у нее не хватало характера, воли — она не могла бороться со своими собственными детьми. Ее, конечно, огорчали и наша мальчишеская агрессивность, и благоприобретенная демагогия, просто хамство. Она нас останавливала. Но с таким тактом, с такой деликатностью, какую мы с трудом воспринимали.

Году, наверное, в двадцать первом, когда из исчезнувших продуктов ощутимее всего стало отсутствие соли, мама, что случилось с ней редко, вслух высказала недовольство. Я уже тогда был напичкан бесчисленными, прочитанными мною агитационными брошюрками, считал себя якобинцем, народовольцем, большевиком и еще неизвестно кем и объяснил маме, что она обывательница и не в состоянии оценить величие времени и необходимость терпеть такую малость, как отсутствие какой-то соли. Мама, как всегда, смолчала. Было время обеда, мама варила мое любимое блюдо — гороховый суп.

Я съел первую ложку супа и остановился: он был совершенно несоленый. Я поднял глаза на маму. Она смотрела на меня спокойно, без всяких признаков гнева или раздражения. Я поперхнулся и под пристальным взглядом мамы с трудом съел любимый суп, оказавшийся без соли невкусным и даже противным варевом. Больше я по поводу необходимого для революции терпения не высказывался и на завтра ел нормальный подсоленный суп.

Нет, мама не могла сопротивляться этой чужой жизни, которая отнимала у нее — шаг за шагом, день за днем, год за годом — все, что было главным в ее духовной и душевной жизни. Она лишилась не только того еврейского мира, какой она любила, которому была предана. Она лишилась большего — Бога. Еврейского Бога, в чью справедливость, величие и всемогущество она непоколебимо верила. В нашей безбожной семье она была единственной, кто убежденно проявлял свое еврейство. Мама не ходила уже в синагогу, не соблюдала строгих правил, не считалась с запретом смешивать молочное и мясное, вероятно, примирилась с невозможностью отличать кошерное от трефного.

Но в пятницу она зажигала в своем углу на подоконнике две тоненькие свечки, а за столом, угощая нас всеми лакомствами тогдашней обильной Москвы, никогда не притрагивалась ни к аппетитному розовому салу,

ни к разнообразным и вкуснейшим колбасам, инкрустированным шпиком. И, при всей грубости, свойственной времени и молодости, мы никогда не затрагивали эту сторону маминой жизни и не отпускали шуток, хоть бы и безвинных. Но я однажды пошутил, и сейчас содрогаюсь, вспоминая мамино лицо и ее глаза.

Это было в конце сорок пятого года, когда нам, отбывшим сроки и продолжающим работать в лагере, вдруг выдали паспорта и отпустили в месячный отпуск. Конечно, ни в Москву, ни еще в 272 города мне являться не следовало, но кто мог меня удержать от свидания с мамой и дочерью! Я приехал богатый: весь сухой паек на месяц отпуска мой приятель главбух выписал мне американской тушенкой, бразильской ветчиной, яичным порошком.

Как изменилась мама за эти семь лет! Высохшая и внутренне потухшая, одна — без мужа, умершего в эвакуации, без благополучных и здоровых сыновей. Старший — на фронте съездил по морде начальнику, схлопотал штрафбат, уцелел благодаря тяжелому ранению и до сих пор не вылезает из тыловых лазаретов; средний — вот он сидит вроде как бы и свободный после семи лет... И все же мама смотрит на меня так, будто видит мое будущее: ссылку, новый арест, срок, лагерь... И младшенький, которому она выплакала замену восьми лет лагерей на три, отбыл свой маленький срок, отвоевался, был многожды ранен и служит до сих пор в оккупационных войсках.

В порыве собственной радости я не умел пробить пелену печали и тоски, окутавшую маму. И видя, как она кладет себе на тарелку кусок ветчины, с шуточным испугом, как-то сказал ей:

— Мама! А как же Бог? Ты ведь еврейка!

Мама не принимает моей шутки. Она подымает ко мне навсегда заплаканные, потускневшие глаза.

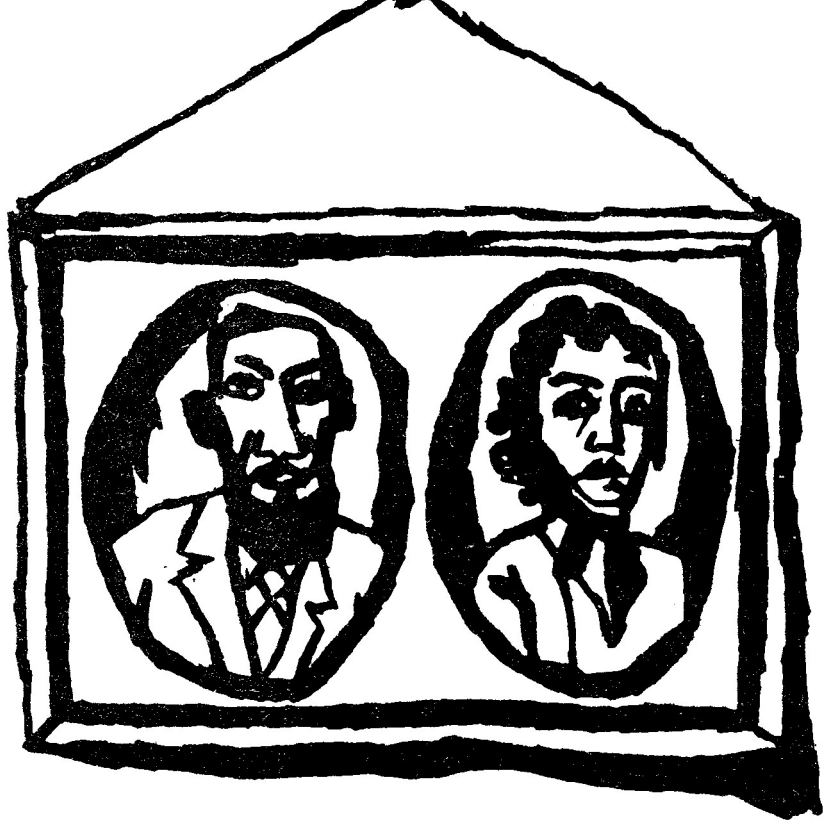
— Какой он мне Бог, такая я ему еврейка...

И я замолкаю. И тогда, и много позже, вспоминая маму, я думал о том, что мы отняли у нее Бога.

Наши родители совершенно не вмешивались в нашу жизнь, проявляя в этом не столько «нейтралитет», сколько величайшую деликатность. А у нас не хватало ни ума, ни такта для того, чтобы понять, как оскорбительно было для родителей, и прежде

всего для матери, что мы не считали нужным не только советоваться с ней, а даже сообщать о самых важных событиях в нашей жизни. О женитьбе своих сыновей она узнавала от посторонних, с невестками знакомилась, когда должны были появиться внуки и требовалась ее помощь и участие. И, от природы замкнутая, мать становилась еще менее общительной, все чаще неодобрительно сжимала губы, все больше холодной рассудочности появлялось в ее словах и поведении. Так постепенно угасал огонь ее жизни, она превращалась в вечно всем недовольную, постоянно опасющуюся за завтрашний день старуху. Единственно близким, неразрывно с ней связанным человеком оставалась моя дочь Наташа, и на ее долю выпала вся мера старческого раздражения и ропота, которая в любой нормальной семье равномерно распределяется между всеми ее членами. Но ей же, Наташе, почти полностью досталась и вся мамина любовь. Любовь, запасы которой у нее были огромны, неисчерпаемы.





21969 7

## МОИ РОДНЫЕ

**П**о всем представлениям того маленького мирка, в котором выросли мои родители, брак моей матери был неудачным, партию она сделала плохую, это было почти то, что в литературе именуется мезальянсом. Вопреки мифу о еврейском единении, горькое общество было строго иерархическим. На самом верху социальной лестницы стояли наиболее богатые еврейские семьи города: Гинзбурги, Муравины, Винокуровы, Зайцевы. Они владели магазинами, мельницами, винокурными заводами, жили в больших богатых домах, пользовались красивыми и дорогими вещами, их дети получали высшее образование в крупных русских городах. Это был привилегированный круг, он совершенно не смешивался с другими слоями еврейского населения. Мы увидели просторные и красивые интерьеры их особняков лишь после революции, когда там разместились разные учреждения, клубы, красные уголки. Мы познакомились с молодежью из этих семей, нашими сверстниками, когда их родители потеряли свои социальные и имущественные привилегии. В далекие годы моего детства в эти дома были вхожи лишь редкие представители еврейской интеллигенции.

Наиболее многочисленный слой еврейского населения города составляли семьи, добившиеся известного жизненного достатка: хозяева мелких предприятий и лавчонок, скупщики деревенских продуктов, мелкие маклеры, приказчики, ремесленники. У этих людей были небольшие, но собственные дома; не первые, не лучшие, но все же собственные, купленные места в синагоге, обязательная корова, сад, репутация почтенных или полупочтенных граждан. В отличие от еврейской буржуазии, этот слой общался и даже рождался с более низшими: рабочими, подмастерьями — представителями полупролетарской среды.

Мой отец был выходцем именно из этого полупролетарского, неустойчивого круга городского общества. Отец его — мой дед Абрам — был чужаком в городе. В очень далекие времена, в пятидесятые годы прошлого века, он в поисках работы приехал в

Горки из Добромышля — маленького еврейского местечка в другом конце Белоруссии. Он переменил множество занятий, наглодид многочисленную семью, но так и не выбился в верхний, более обеспеченный слой мещанства. Я его помню уже глубоким стариком, благообразным, с длинной седой бородой, сохранившим еще бодрость, достаточную для той странной профессии, которой он посвятил последние годы своей жизни. Дед мой был маршелик, или бадхен, — распорядитель на свадьбах и похоронах, импровизатор при проводах невесты, руководитель традиционного еврейского оркестра клезмеров<sup>1</sup>. Полунищенская жизнь не дала ему возможности удержать возле себя своих детей. Большинство из них разбрелись по России, и только трое — мой отец и две его сестры — остались в том городе, где родились. Дедушка Абрам и две его дочери представляли в городе единственную нашу родню с отцовской стороны.

Мои тетки Хая и Хана были совершенно разными не только внешне, но и по характеру, склонностям, и судьбы у них были разные. Тетя Хана — высокая, худая, слегка косящая — вышла замуж за сапожника, жившего в Глинице. Сапожник из Глиница — это неважная репутация и малообещающее будущее для жениха даже такой бедной девушки, какой была моя тетка. Но в создание своей семьи тетя Хана вложила столько злобного упорства, цепкости, изворотливости, силы, что сумела и мужа своего подтащить вверх, и детям дать образование. Да и муж ей попался славный и добрый — Израиль Данкман, безропотно признавший диктатуру своей супруги во всех вопросах семейной жизни.

К тому времени, когда я вырос и меня стали отпускать одного даже в Глинице, Израиль Данкман стал процветающим ремесленником, по всем горецким понятиям — обеспеченным и солидным человеком. Он построил дом, лучший дом в Глинице, на веселом месте — на углу большой дороги и слободы, почти у самого моста через Проню. Дом этот, состоявший из одной перегороденной комнаты да крошечной кухни, служившей еще и мастерской, был предметом постоянного преклонения всей семьи, своего рода божеством. До сих пор помню широкие доски пола, выскобленные до такой чистоты, что нам, детям, страшно было заходить в парадную горницу, полную самых разнообразных цветов. И мы предпочитали околачиваться в мастерской. Да по совести говоря, здесь было веселее и интереснее. В комнате

---

<sup>1</sup> Клезмеры — еврейские музыканты, играющие на свадьбах или других торжествах.

главенствовала тетья Хана — крикливая, всегда раздраженная и недовольная. А в мастерской сидел дядя Израиль — веселый, улыбающийся, хитро и понимающе подмигивавший нам, когда его жена уж очень, бывало, расходилась. На верстаке было разложено множество хитроумных орудий его ремесла, и нам разрешалось все это трогать, сучить дратву для воздушного змея, наводить зубчатым колесиком красивый узор на кусочке кожи, прошелкивать в ней дырочки какими-то специальными щипчиками. Дядя Израиль любил наше общество, никогда не отказывал в совете, и я всегда подозревал, что если бы он не боялся тети Ханы, то обязательно принимал бы участие во всех наших затеях. Дети тети Ханы — Илья, Хаим и Моисей — были почти моими сверстниками. Младший, Моисей, был моим ровесником, я очень любил этого неугомонного и изобретательного озорника, обладавшего талантом строгать, клеить, мастерить, с одинаковым азартом шившего сапоги и строившего воздушные змеи чудовищных размеров.

Старшая сестра тети Ханы и моего отца, тетья Хая, тоже была замужем. Но у нее не было детей, да и трудно было поверить, что у нее есть муж — настолько этот муж был незаметен рядом со своей женой — непоседой и бобылкой по характеру. Муж тети Хаи работал на мельнице и до последней степени был забит работой и своей властной женой. Он никогда не раскрывал рта, его нигде и никогда не было видно. Хозяйство да и весь уклад жизни этой странной семьи строились на энергии тети Хаи — женщины самобытной, упрямой и настойчивой. Всегда она была в движении, в действии. Она пекла поджаристые, хрустящие кухолы и продавала их на базаре, стирала белье, работала приходящей прислугой и при этом находила время для энергичного вмешательства во все сложные семейные дела своих родных и знакомых. В больших грубых сапогах, в огромной толстой шали, всегда накинутой на плечи, она бесцеремонно являлась в дом, где, по ее мнению, происходили какие-то неурядицы, и отчитывала хозяев, не считаясь ни с положением, ни со степенью родства. Такой она была в самые первые годы моей жизни, такой же я ее помню в мои юношеские годы, когда она изредка приезжала в Москву, по очереди являлась к своим многочисленным племянникам и вершила у них суд и расправу. Тетья Хая считала, что род, ею представляемый, не из последних в избранном Богом народе, и не давала его в обиду. Она была всегда в курсе всех удач и неудач своих родных, переписывалась с ними; племянники, о которых она пеклась, как о своих детях, нежно ее любили, иногда больше, чем своих матерей.

Ко мне она относилась с особенной нежностью, насколько это было возможно при ее резком, властном и нетерпимом характере. Она всегда ссорилась с мамой из-за моего воспитания, и я был единственным из ее горечких племянников, которого она на целые дни и даже недели забирала к себе. Мне разрешалось трогать всякие диковинные вещи, подаренные ей хозяйкой, у которой она много лет проработала в прислугах, для меня она заводила часы-будильник, вызванивавшие веселую песню. И ей никогда не надоедало повторять по моей просьбе рассказы о путешествиях, которые она совершала с какой-то богатой девицей, будучи у нее в прислугах. Среди этих путешествий наиболее значительной была поездка в Палестину. В нашем городе среди евреев тетя Хая была единственным человеком, побывавшим в «стране отцов» — Палестине. Она видела остатки Соломонова храма, Стену плача, запросто расхаживала по местам, чьи названия все остальные благоговейно выучивали по священным книгам. Это придавало бедной и простой прислуге какой-то особый вес и значение; лучи этой славы падали и на нас, ее племянников. Впрочем, в ее рассказах больше фигурировали описания ярких апельсинов, неудобств дороги, какие-то столкновения с хозяевами иерусалимских гостиниц, нежели величие Эрец Исраэля. Тетя Хая жила долго, почти не меняясь ни внешне, ни внутренне. Ей суждено было вдоволь насытиться радостями и горестями своих родных, пережить их взлеты и падения, расцвет и уничтожение. Погибла она осенью 1941 года, когда немцы истребили все еврейское население Горок.

Тетю Хаю я вспоминал и вспоминаю особенно часто. Она была первой, кто мне пытался ответить на вопросы о таинственной Палестине, о загадочном и вечно влекущем Ерушалаиме.

— Тетя Хая! Так ты видела храм Соломона? Он очень великий, очень большой и богатый?

— Ну, какой там великий! Эти ж изверги разрушали его, разрушали и вконец, мамзеры<sup>1</sup>, разрушили! Осталась одна стена. Но какая! Всем стенам стена! И возле нес стоят евреи и плачут.

— Зачем?

— А где же лучше поплакать? Что это за молитва, если не поплакать? А там очень удобно. Тепло, не быва-

---

<sup>1</sup> Мамзер — незаконнорожденный.

ет дождя. Постоял, помолился, поплакал. Так и называется — Стена плача.

— А где же храм Соломона?

— Та я ж тебе говорю — разрушили поганцы. На его месте арабы построили свою церковь — такую большую-пребольшую...

— А кто такие арабы?

— Такие же евреи! Только похуже. Когда покупаешь у них, смотри в оба, а то тебе такое всучат! Вот арабский базар — больше нигде не увидишь подобное! Там есть все на свете! И там я увидела эти часы, просто обомлела. Хозяйка на меня посмотрела, тут же их купила и подарила мне. Хочешь еще раз послушать, как они играют?

Тетя Хая осторожно достает драгоценные часы, всегда стоящие на комодике и покрытые фланелевым платочком. Часы большие, стенки их из стекла, и видны все бесчисленные, цепляющиеся друг за друга, колесики. Тетя Хая вынимает ключ, заводит, и весь этот необыкновенный сложный механизм приходит в движение. Крутятся все колесики, и вдруг часы начинают вызывать знакомый мотив: «Во саду ли, в огороде...».

Почему в древнем и таком далеком от России городе часы должны играть русскую песню — понять невозможно... Но именно эта простенькая русская песенка у меня на многие годы соединилась с образом Ерушалаима. Где теперь эти часы? Когда немцы выводили из домов евреев, чтобы согнать их на кладбище и убить, наверное, кто-то из палачей или их подручных взял себе эту забавную штучку.

В Старом городе я ходил по арабскому базару и всматривался в пестрое смешение резных игрушек, гонконгской электроники, бедуинской экзотики, искал какое-то подобие часов тети Хаи. На что я надеялся, чужак?

Но однажды, обходя магазины на Кинг-Джордже — самой известной пешеходной улице в центре Иерусалима, — я забрел в магазинчик, особо для меня привлекательный. Их много в Иерусалиме, еще больше в Италии. Это даже не антиквариат, а просто все старое: самовары, остатки канделябров, каминные щипцы, бронзовая грелка для ног... И увидел в этом магазине часы. Часы тети Хаи, точно такие: с прозрачными внутренностями, бронзовой ручкой.

— Они ходят?

— Да. Сейчас я их заведу.

Как некогда тетя Хая, старый еврей, державший лавку, достал ключ, завел, и — как тогда — пришли в движение, закрутились все большие и маленькие колесики. И вдруг зазвенел тоненький мотив: «Во саду ли, в огороде...».

...Воспоминания, говорят, бесценны. Но тут они имели совершенно точную цену: двести шекелей. Это было мне не по карману.

Потом множество раз я корил себя: «Ну ты же все равно потратил эти двести шекелей! На джинсы, на лекарства, еще на какое-то барахло, без которого не только можно, но и удобней жить. А часы тети Хаи не купил».

Не могу себе этого простить...

Наши родственники с материнской стороны принадлежали к более высокому социальному слою, нежели родные отца. У мамы в Горках жили ее родной брат и несколько двоюродных. У них были собственные дома, огород, сад, корова, каждый имел достаток — большой или меньший, но обеспечивающий прочное положение в среднем слое еврейского мещанства. Родной брат мамы, дядя Миша, занимал почетное место среди жителей города. Собственно, по строгой социальной классификации, место это было не очень солидное: дядя был всего-навсего мастером на той же фабрике «Крем Казими-метаморфоза», где работал и мой отец. Но в действительности дядя Миша был не столько мастером на фабрике Падзерского, сколько управляющим. Ему одному старик Падзерский доверил секрет изготовления своего крема; среди всех жителей города — русских, евреев, поляков — только ему он доверял ведение всех дел фирмы: и производственных, и торговых. И только по отношению к дяде Мише и его семье старый шляхтич не выказывал своего обычного панского презрения к евреям и проявлял максимально доступную для него меру демократизма. Он запросто бывал в гостях у дяди Миши, разрешал своему сыну дружить с младшим братом своего мастера и не был по обыкновению скуп, вознаграждая труды верного своего помощника. У дяди Миши был прекрасный большой дом — один из лучших в городе, только у него можно было встретить невиданные в других домах вещи: гардины на окнах, кафельные изразцовые печи, дорогие обои, застекленную террасу, мягкую, обитую плюшем мебель. Из огромного участка, занимаемого

усадебой Падзерского, тот выделил дяде Мише небольшой клочок земли, на котором дядя Миша разбил крошечный, но очень хороший сад, где росли те же редкие сорта яблонь и груш, что и в саду Падзерского. Необычным для других садов города был цветник дяди Миши — огромный, с десятками сортов роз, лилий, георгин и гладиолусов.

Пан Падзерский не прогадал в своих щедротах. Дядя Миша платил ему беспредельной преданностью. Безукоризненно честный по отношению к любой чужой копейке, он — без всякой отчетности — ездил закупать материалы для фабрики, отпуская готовую продукцию, словом, вел все дела фирмы. Он был до такой степени ревнителем хозяйских интересов, что сурово штрафовал за брак, за нерадение даже своих родственников, работавших на фабрике. Годы советской власти вытравили из дяди рабскую привязанность к прежнему хозяину, но он стал таким же рачительным служакой у новых хозяев и гордился званием стахановца. Иногда во время родственной попойки вспыхивали между ним и моим отцом отзвуки старых классовых конфликтов. Отец упрекал дядю за холуйство перед хозяином, за вечный страх перед ним, он вспоминал только ему и дяде памятные случаи несправедливых штрафов, увольнений, забастовок. И жалко было тогда глядеть, как дядя Миша терял свою обычную самоуверенность и живость, как он съеживался и замолкал. Отец, очевидно, тоже жалел его, тотчас прекращал ворошить кости старого пана, махал рукой и решительно предлагал бывшему мастеру выпить еще по рюмке.

Жена дяди Миши, тетя Даша, была рыхлой, флегматичной женщиной, рано состарившейся от множества родов. Кажется, у нее было шестнадцать детей. Из них в живых осталось трое: старший сын Лева, дочь Сифа и ровесник Соли — Зяма. Все они были намного старше меня. По этой ли причине или из-за того, что какой-то холодок разделял наши семьи, но в тот период, о котором сейчас рассказываю, я чувствовал себя всегда скованным в гостях у дяди Миши. Я был именно в гостях, а это состояние не располагает к тем непрерывным выдумкам и шалостям, которые составляют главное занятие человека в возрасте от пяти до десяти лет.

Кроме дяди Миша у мамы в Горках жили еще два двоюродных брата. Один из них, дядя Гиля, представлял собой довольно редкий тип еврея-Гарпагона. И он, и его жена Маша были людьми, порвавшими связи с мешанско-ремесленной средой, из которой вышли. Они стыдились своего происхождения. Дядя Гиля был профессиональным музыкантом — дирижером единственного в городе духового оркестра пожарной дружины, кроме того, он



играл на скрипке в кинематографе — словом, представлял в своем лице почти всю музыкальную культуру города. Жена его работала в аптеке и была дамой, не имевшей ничего общего с вечно торопящимися, жестикулирующими, неряшливо разговаривающими женами торговцев и ремесленников. Полная и представительная, со следами ушедшей красоты, с низким, очень красивым певучим голосом, всегда хорошо одетая — она и мужа обогнала, убегая от своего класса. Она обладала сценическим дарованием, играла в любительских спектаклях в Дворянском собрании: офицеры и исправник целовали ей руку. Встречаясь с нами — своими босоногими и чумазыми племянниками — она или не узнавала нас, или же разговаривала точно так, как та зубастая дама, которая вручала мне на елке ватного ангелочка. У дяди Гиля был дом, обставленный по всем правилам «хорошего» мещанского тона, с большим садом. За все годы жизни в Горках я в этом доме был только один раз, и то — в прихожей. Чета эта была феноменально скупа и больше всего боялась, как бы их не разорили родичи. Даже собственные дети не выдерживали мелочных и постоянных придинок родителей и очень рано уехали из города. Дядя Гиля и тетя Маша были единственными нашими родственниками, к которым мы не ходили в гости и которые не бывали у нас. Удивительно, как способны иногда несчастье и бедность исправлять людские характеры! Через очень много лет я встретил их — они потеряли тот недостаток, которым так дорожили, и вынуждены были жить у своих детей, некогда бежавших от их скупости. И я поразился тому, что эти старики стали более веселыми, общительными, мягкими, интересующимися окружающими людьми, способными на проявление жалости и доброты. Как странно, что многим для того, чтобы обрести человеческие качества, надо пройти обязательную школу горя и несчастий.

Родной брат дяди Гиля, Израиль, был во многом схож с ним. Но в еще большей степени был от него отличен... Дядя Израиль был маленький, редко улыбающийся человек, с рыженькой козлиной бородкой, постоянно нахмуренным лбом, деспотичный и суровый. Как и мой отец, он работал на фабрике Падзерского, но в городе считался безусловно более солидным и положительным человеком. У него был собственный дом, корова, огород, он уже достиг предела, который был еще далекой мечтой других мелких ремесленников и рабочих. Властный и нетерпимый характер, суровость, доходившая до жестокости, сближали дядю Израиля с его нелюбимым нами братом. Но в характере дяди Израиля главными были не эти качества, а огромная, жертвенная любовь к своим детям. Их у него было пятеро, и ради них он трудился день и ночь, хватался за любую работу, за любую возможность

заработать лишний грош. Никакая суровость к детям не могла скрыть его нежной любви к ним. Мои родители дружили с ним и его женой — веселой, всегда улыбающейся тетей Гитой. Но еще теснее дружили я и мои братья с детьми дяди Израиля.

Кроме трех сыновей — Лёкома, Михаила и Нёмы — у них были еще две младшие дочери — Вера и Сарра. Но этих девочек мы, конечно, не замечали, пока с удивлением не увидели, что они выросли и превратились в славных, умных девушек. Но в то время, о котором я рассказываю, они лишь вызывали нашу досаду, ибо тетя Гита вечно поручала их заботам мальчишек, что серьезно нарушало наши планы, сводившиеся, главным образом, к походам в окрестные сады.

21969 8



## БРАТЬЯ — ДРУЗЬЯ

**И**з всех моих троюродных братьев, собственно говоря, моим сверстником был только Нема — несколько угрюмый, медлительный мальчуган, необычайно рассудительный. Старшие его братья — Леком и Миша — были ровесниками моих старших братьев. Но именно они, и прежде всего Леком, были наиболее любимыми моими друзьями всех лет, проведенных в Горках. Миша — веселый, красивый, похожий на свою мать — ухитрялся скрывать свою сильную склонность к озорству под личиной вполне благонаправленного мальчика.

С удивлением думаю, что редко вспоминаю Мишу. А ведь кроме того, что был он веселый, озорной и изобретательный мальчишка, он был творец. Художник. Настоящий. Всего лишь бережно тронув ножом кусок корня или сосновой коры, он вдруг вытаскивал на свет нежную обезьяну, задумчивого котенка или — это было просто страшно! — всем нам знакомое лицо дяди Гили, а то и самого Тони Падзерского. Мы были слепые, а он — зрячий. Его глаза смотрели на мир с любопытством. Иногда он останавливал нашу компанию и показывал на небо, на облака, на опушку леса, на спрятавшееся внизу озеро.

— Смотрите, смотрите же, да что вы, черти, не видите! — не говорил даже, а кричал он.

Но мы были черти и ничего не видели. Видел только он. И рисовал. На листках из школьной тетради, картонке, куске газеты. Это были очень странные картины, вызывавшие у нас град насмешек. Пейзаж не пейзаж, человек не человек, что-то на что-то похожее и не похожее ни на что. Миша на нас не обижался, смеялся вместе с нами и дарил нам свои «мазилки», как он их называл, не требуя ни внимания, ни сохранности.

Еще не окончив школу, он поспешил в Минск, в этот белорусский Париж будущих Фальков, Шагалов, Аксельродов. Поступил в какую-то художественную школу, обрел учителя, захлебывался от счастья настоящего и предвкушения будущего.

Миша погиб в первый день войны.

Старший, Леком, не был сколько-нибудь в состоянии скрывать свой характер. Да в этом и не было нужды, настолько характер этот был целен и обаятелен. К Лекому я всегда питал нежную любовь, это чувство до сих пор сохранилось во мне. В этом маленьком крепыше бросалась в глаза необыкновенная ясность в понимании того, чего он хочет, правдивость, чувство юмора, кристальная честность. Именно он был заводилой и инициатором всех наших шалостей и нарушений всех родительских запретов. Но когда мы попадались, он не вилял, наоборот, смело брал вину на себя, выгораживая других, и жесткий отцовский ремень гулял по нему больше, чем по ком бы то ни было.

Необыкновенно приятно было в обществе Лекома — всегда, в любой обстановке. Он никогда не терялся, здравый смысл помогал ему найти быстрое и правильное решение — касалось ли это школьных дел или же отступления с боем из чужого сада, в котором нас заметил бдительный хозяин. В любом месте, при любых обстоятельствах он достигал главного — люди верили ему. После окончания горецкого сельскохозяйственного института Леком стал землемером. Я его много лет не видал, но часто вспоминал о нем, и мне очень легко представить, как Леком ездит по селам, спорит с колхозниками и пьет с ними водку и как легко им с этим ясным и справедливым человеком. В годы заключения и во время войны я ничего не знал о нем и его братьях. Потом мне написали, что Леком в армии, Миша погиб под Минском, тетя Гита, Вера и Сарра, успевшие выйти замуж и обзавестись детьми, убиты немцами в Горках. В 1944 году в лагере я услышал спор двух моих товарищей о том, существует ли такое странное имя Элиокум. Они мне показали газету, давшую основание для их спора, ожесточенного и бестолкового, какой бывает только у арестантов. В газете сообщалось, что Указом Президиума Верховного Совета за форсирование Днепра награждается орденом Суворова III степени полковник Элиокум Израилевич Шапиро. Это был Леком. И мне не потребовалось

больших усилий, чтобы представить себе мирного землемера в роли командира полка. В характере Лекома совершенно отсутствовали черты того, что называется «военная косточка». И в то же время он в высшей степени обладал качествами, необходимыми для того, чтобы вести людей в бой: он был прост, добр, справедлив и не щадил себя.

Я много и с радостью вспоминал о Лекоме, когда думал о своем детстве. К этой радости примешивалась беспочвенная вера в то, что я еще увижу его, буду с ним. Не очень-то я верил, что меня освободят, но если будет воля, то будет в ней и Леком. И это очень украшало мои, естественные для зека, мечтания о воле. Конечно, это будет другой Леком, но еще лучше, еще надежней, еще добрей.

Леком, бесстрашный командир полка, награжденный орденом Суворова III степени №1, человек мужественный и веселый, никогда не унывающий, всегда смеющийся, никого не свете не боящийся... Как мне с ним было хорошо и радостно в детстве! Может быть, и другая, закатная жизнь будет также освещена им?

Нет, все было иначе. Новый, встреченный мною на воле Леком — плотный и коренастый, громогласный и веселый, донашивавший свою командирскую шинель, — внешне был похож на того, прежнего, из детства.

Он ее донашивал, как донашивал лучшую часть своей жизни — войну. Да, да, для Лекома годы войны были лучшими годами жизни. На войне тихий провинциальный землемер превратился в военачальника, там он обрел абсолютную уверенность в себе, в своей правоте, в своей силе. Там он обрел братство, скрепленное кровью, смертельной опасностью. Он был воином и гордился иконостасом орденов на широкой груди. Он переписывался со многими однополчанами, со слезами в голосе читал нам их письма. Когда кто-нибудь из них приезжал в Москву, то останавливался обязательно у него, и Леком в честь боевого друга устраивал обильное застолье. Частенько бывал там и я. Каждый встреченный им

человек в потрепанной фронтовой шинели, с боевым орденом был ему другом.

Леком был воином. Но прежде всего он был евреем. Его еврейство бродило в нем, кипело, выплескивалось гордостью, горем и ненавистью. Не дай Бог сказать при нем про еврея что-нибудь уничижительное. Леком не просто отвечал словами из солдатского лексикона, он лез в драку. Однажды в трамвае кто-то громко сказал обычное: еврей-де всю войну провели в Ташкенте, по-настоящему воевавшего еврея никто не видел... Леком схватил зачуханного антисемита за ворот, расстегнул шинель и начал тыкать его мордой в свою бронированную орденами грудь. Затем дернул за сигнальную веревочку, остановил трамвай и выкинул окровавленного оппонента на улицу.

Но, рассказывая про этот случай, Леком хмуро уточнял:

— А трамвай молчал. Понимаешь, все молчали. Ни слова не сказали, как будто их это не касалось...

Молчали не только в трамвае. Молчали все. Тогдашние куняевы и шафаревичи громко выкрикивали свое в журналах и газетах — от «Крокодила» до «Коммуниста». А молчали, как казалось Лекому, все. Общительный по натуре, Леком состоял в разных воинских обществах, ассоциациях, комитетах. Но его все реже и реже приглашали на заседания. И не всегда звали даже на торжественные собрания фронтовиков. Однажды, закусив губу, Леком показал мне какой-то журнал. На развороте были нарисованы ордена Суворова всех степеней и указаны фамилии обладателей орденов № 1. Все, кроме одного: орден Суворова III степени № 1 не имел владельца...

Умный и добрый Леком не понимал, что происходит. И в его душе неутоленно и страшно жило то, что он не в состоянии был понять и простить.

Наше детство, проведенное в городе с многонациональным населением, не знало антисемитизма. Наши русские друзья были для нас не лучше и не хуже одноплеменников. Самыми близкими друзьями Лекома

были братья Селезневы — Борис и Глеб, дети известного в городе врача, состоятельного человека. Несмотря на разный социальный уровень, старший из братьев, Борис, был не только близким другом Лекома, но и своим человеком в доме. Он пропадал в семье друга, возился с его сестренками, тетя Гита чинила ему рубашку и штаны, пострадавшие после неудачного лета на чужой сад.

Однажды, когда мы были вдвоем, Леком задал мне вопрос — не сказал, а рывкнул:

— Ты, ты все понимаешь! А можешь ты мне объяснить про Бориса, можешь? Ах, ты не знаешь, так я тебе расскажу. В Горки я приехал, как только вышел из госпиталя, война кончалась уже без меня, наши воевали в самой Германии. Горки были сожжены; все дома, весь город, кроме Слободы и Заречья. От нашего дома даже сруба не осталось. Но в городе были люди, знавшие меня, пережившие немцев. Они мне рассказали, как выводили из нашего дома на расстрел маму, Веру, Сарру с детьми. И знаешь, кто их выводил, кто их гнал на кладбище и, наверное, убивал? Борис! Да, они с Глебом были у немцев не просто полицаями, а в зондер-команде. Понимаешь, маму, которая его кормила, девочек — Верочку и Сарру, он их знал почти с рождения, его отец их лечил...

Леком посмотрел на меня страшными трезвыми глазами, уронил голову на стол и зарыдал, громко всхлипывая. Никогда, никогда прежде не видел я плачущего Лекома.

— Ну, ты можешь мне объяснить, почему? Конечно, никаких следов я не нашел, братья бежали с немцами. Я писал друзьям на разные фронты, описывал внешность — найдите, найдите их мне! И сам, как сумасшедший, искал — нет, не нашел, не нашел! А как жить после этого, как жить, а?

Но разве месть могла бы успокоить Лекома, ответить на главный, мучивший его вопрос: почему? Вообще, может месть успокоить? Ни тогда, когда мне Леком рассказывал про Бориса, ни много после, до самого его отъ-



езда, мне не пришлось поведать ему историю одного моего сокамерника из Кушмангорта в Усольяге.

Он был из Гомеля, конец войны застал его в чине капитана наших оккупационных войск в Германии. Об участии оставшихся в Гомеле матери и сестренки он уже знал. Хорошо знакомый парень с их улицы, ставший полицаем, доложил своему начальству, что на вверенном ему участке живет семья красного командира — мать и сестра. Они были русскими, но, очевидно, понадобились для круглого счета: учет есть даже у убийц. Полицая приказали их убить. И он сделал это. Но судьба этого мелкого палача сложилась неудачно: видно, не успел скрыться, его схватили.

Первая волна сталинского гнева, когда подручных немецких оккупантов вешали и стреляли, прошла. Сталин даже отменил ненадолго смертную казнь, заменив ее двадцатью пятью годами: то ли расчувствовался, то ли прикинул, что так надо. Но суды над неудачливыми доброхотами из зондер-команд еще продолжались. В Гомеле открытым показательным судом судили и знакомого моего сокамерника. И даже уведомили об этом капитана, прислали приглашение на суд. Начальство разрешило съездить.

А далее я передаю, почти стенографически, его рассказ:

— Когда мне предложили ехать, я решение принял сразу же. Командование меня любило, я со многими сжился, сдружился, грустно было расставаться — я-то знал, что сюда не вернусь, навсегда расстаемся.

В Гомеле для суда отвели большой зал, народу полно, меня посадили в первом ряду — как раз напротив. Суд тянулся целых два дня — со всеми онёрами: прокурор, защитник, свидетели. Подсудимый ведет себя так, будто он из их команды, — свободно, без страха. А какой у него может быть страх? Расстрела нет, в лагере перекантуется, снова шестеркой станет.

Ему говорят: расскажите подробно о вашем преступлении.

Судья на меня смотрит вопросительно, дескать, может я не хочу, тяжело? Я ему киваю: давай, давай, пусть говорит! Он и рассказывает. О том, как доложил

своему начальству про семью красного командира, как ему сказали — пойди убей, как пошел убивать. Дом-то знакомый, не раз бывал там. Пришел, мать мою сразу пристрелил, а сестренка убежала в другую комнату, спряталась под кроватью, он ее вытащил, застрелил и пошел докладывать — приказание исполнено.

Рассказывает размеренно, без страха — так, изредка, одним глазом зыркнет на меня и все. А я сижу спокойный-спокойный. Что мне волноваться, когда у меня все решено. Вот кончается эта заседательская мусть, прокурор его заклеимил и потребовал полную меру — двадцать пять лет, защитник что-то провякал, что, дескать, подсудимого принуждали, и ему дают последнее слово. Ну, оно и действительно было последним.

Разливается, паскуда, благодарит советскую власть, что жизнь ему оставляет, он-де еще искупит и прочее такое. А у меня мой трофейный вальтер уже в кармане взведен и с предохранителя снят. Когда он все это выложил, я встаю, подхожу к нему — два шага всего — и говорю:

— Это тебя советская власть помиловала. А я — не помилую!

Вынимаю вальтер и двумя пулями наповал убиваю гада. Ну, суд как взвизгнул и зачем-то убежал в другую комнату. А зал ахнул, но молчит, все молчат, никто с места не встает. Я иду по проходу мимо них, мне никто слова не говорит. Вышел, а напротив клуба ларек. Подхожу, беру стакан водки — надо ж напоследок, не скоро еще выпью, потом иду в милицию. А там уже знают, вскочили все, всполошились. А я им:

— Чего вскочили-то, чего испугались? Вот вам мой пистолет, чего еще — ремень что ли снимать?

Ну, вот. Восьмерку дали, я и обжаловать не стал. Хотя, говорят, командование писало, хлопотало. Ну, у них выхлопочешь! Вот пятый год тяну, скоро освобожусь, по амнистии скинули.

— И теперь спокоен ты? И не жалко, что жизнь свою сломал?

— Не жалко. Раньше не мог вспомнить про мать да сестренку. Вспомню, заскрежешу зубами, вот-вот за-

бьюсь в падучей. А теперь могу, вспоминаю. А жизнь — что? Жизнь — штука наживная.

Не рассказал я эту историю Лекому. И не жалею. И вовсе не уверен, что стало бы ему легче, если бы нашел Бориса и убил его.

А может быть, я думаю так потому, что я — другой, не такой, как раньше. Тогда, полвека назад, был бы я готов убить убийц Оксаны, Израиля, всех моих близких? Да, был готов, хотел этого!

А сейчас мне безразлично, что живы, наверное, Лобанов, Гадай, другие палачи и мучители — большие и маленькие. И не получил я никакого удовлетворения, когда из дел в архиве КГБ узнал, что комиссар государственной безопасности Бельский, мучивший, пытавший мать моей первой жены Софью Александровну и ее мужа Ивана Михайловича, сам был замучен и расстрелян своими дружками-помощниками. Нет, не возлюбил я никого из них и не простил, и не прошу никогда. Но месть меня не насыщает, не радует, не нужна мне она. И меня тошнит от отвращения и горя, когда по телевизору вижу трупы, трупы, трупы людей, убитых из мести, злобы, зависти — всего, что сопутствует якобы «самоопределению народов», «национальному самосознанию» и прочей лабуде для дураков. Чума на оба ваши дома!

С тоской думаю: неужели, чтобы утратить жажду мщения, выработать в себе отвращение к убийству, надобно стать — подобно мне — стариком, прошедшим весь крестный путь испытаний, какие могли выпасть на долю человека нашей эпохи?

Но хватит отступлений, важных для меня и наверняка малоинтересных читателю. Буду продолжать свой рассказ о Лекоме. «Печален будет мой рассказ...»

Противоестественное, античеловеческое выдавливало Лекома из страны, где он родился, любил и страдал, где покоятся кости его предков и близких, из страны, которую защищал, не жалея жизни ни своей, ни своих товарищей. Леком — с его общительностью, интересом к людям — днями, а то и неделями не выхо-

дил из дома. Недобрый, а то и просто насмешливый взгляд, брошенный на него, на его донельзя еврейское лицо, приводил его в бешенство. Его спасало только то, что рядом была Сима. Сима — первая девушка, за которой он стал ухаживать подростком; Сима, ставшая его женой, народившая ему сыновей; тихая, улыбчивая Сима — наверное, основной стержень его жизни. С ней в любом столкновении со злом можно было все вынести, обрести покой. Это я как раз понимаю.

Уехать бы Лекому в Израиль! В тот, тогда еще малоизвестный, официально ненавидимый Израиль, до которого можно было дотянуться, добраться. Там он нашел бы почти все, что ему, человеку, сражавшемуся с фашистами, было дорого: удовлетворение национальной гордости, фронтовое братство, уважение государства и общества. Но его прагматичным сыновьям плевать было на свое и не свое еврейство, их больше привлекали возможности богатой и необъятной Америки. И они уехали туда, оставив родителям возможность «воссоединиться». Мне тяжело вспоминать последние дни московской жизни Лекома, несвойственную ему растерянность, прощание с родными, друзьями, с улицами и домами, с городом...

Он и Сима уехали в Италию, в Рим, тогдашний «отстойник» для евреев, желавших ехать в Штаты. И, как все, жили там более полугода в каком-то жалком жилище, на скудное пособие. Впрочем, как писал мне Леком из Рима, многие и на это пособие да еще случайные заработки ухитрились объездить чуть ли не всю Италию. Леком и Сима никуда не выезжали из Рима, вернее, из Остии, где находилось еврейское предамериканское чистилище. Он довольно часто мне писал оттуда. Писал, что обычное их занятие — ходить на берег, садиться на скамейку и смотреть на море — за ним, казалось, находилось все, что они оставили, и все, к чему должны пристать.

Потом Леком надолго замолчал. И однажды — непривычно краткое письмо. Леком писал, что Сима умерла, он ее похоронил и уезжает в Америку.

Весной 1992 года я был в Италии и впервые в Риме. Мой друг Алеша Букалов, работавший в Риме корреспондентом, показывал мне великий город, разделяя мою радость, мое удивление, мой восторг.

— Алеша! Поедем в Остию, — сказал я ему.

— Поедем. А то ты и не узнаешь, что Рим стоит у моря.

Остия. Провинциальная окраина столицы. Апрель, до сезона еще далеко. Пустые гостиницы, заколоченные киоски, скучные, почти «хрущобные» дома. Наверное, в них и жили еврейские пилигримы.

На берегу — скамейки, почти у самого моря — плоского, серого, спокойного, малоинтересного. Вот на такой, а может и на этой самой, скамейке сидели Леком и Сима, взявшись за руки, молча — им ничего не надо было говорить друг другу.

— Алеша, а ты не знаешь, где здесь еврейское кладбище?

— Знаю, но оно очень большое, там и римлян хоронят. И это далеко отсюда.

Так я и не побывал на могиле Симы, как больше никогда не побывали там ни ее муж, ни сыновья. Да и сохранилась ли она, эта бедная, беспризорная, всеми забытая могила?..

А сам Леком начал писать письма из Калифорнии. Сначала восхищался роскошью природы, пальмами, парками, комфортом, встречей с сыновьями и внуками. Потом письма становились все более редкими, все менее восторженными. И стала в них прорываться тоска одинокого, ненужного, потерявшего все самое дорогое человека. Там никому не была интересна его воинская слава, воспоминания о войне, о ее трагизме, героизме. Там всем было безразлично его еврейство, не с кем было вспомнить маму, братьев, сестер, друзей, вспомнить Симу. Не с кем.

Леком держался, но письма его становились все более отчаянными, и он просил у меня за это прощения, но ведь, кроме меня, не было у него на свете человека, с которым он мог поговорить. Что это было — ностальгия?

В словаре сказано: «Ностальгия — тоска по родине, по родному дому». Нет, в этом было что-то более сложное, трагичное, это был конец жизни человека, загнанного в пальмово-парковый тупик.

Леком замолчал внезапно. И лишь года через два какой-то знакомый его сыновей, с которым я случайно встретился, с удивлением выслушал мой вопрос и спокойно ответил:

— Так он же умер. Не помню точно, когда, но давно, кажется, давно...

Ах, Леком! Не такую жизнь, не такую смерть заслужил ты у Бога и у людей.

21969 9



## ЖИТЬ — ИНТЕРЕСНО!

**Н**аша семья была недостаточно прочным стыком для того, чтобы объединить наших родных с отцовской и материнской сторон. Эти кланы были чересчур разными — в характерах, связях, в тех бесчисленных мелочах, из которых состоит уклад жизни маленького городка. И тем не менее было нечто очень важное, общее для обоих родов, связывавшее их и служившее для нас — детей — источником первых и больших радостей. Этим объединяющим началом была музыка, любовью к ней наши родные — как отца, так и матери — выделялись среди других жителей города. У моего отца был превосходный слух, несмотря на свою малограмотность, он хорошо читал ноты и почти профессионально играл на флейте и других духовых инструментах. Его брат Моисей, живший в Ярцеве, был профессиональным скрипачом. Брат мамы Миша был не только управляющим фабрикой Падзерского, но и отличным флейтистом. Кларнетистом был и отец Леккома дядя Израиль. Профессиональным музыкантом был дядя Гиля, игравший на скрипке в местном кинематографе и служивший капельмейстером в духовом оркестре пожарной дружины. Этот духовой оркестр — единственный в городе — в большинстве своем состоял из наших родственников. Даже барабанщиком и то был какой-то дальний мамин родственник. В таком составе этот оркестр сохранялся многие годы, и даже при советской власти он пополнялся новыми музыкантами главным образом из числа моих двоюродных братьев.

Отцовская флейта — одно из первых чудес, с которыми мне пришлось столкнуться. Футляр с флейтой лежал обычно на шкафу, и нам строжайше было запрещено притрагиваться к нему. Конечно, этот запрет мы частенько нарушали, но футляр был заперт, и я ограничивался тем, что поглаживал его и пытался в дырочку замка разглядеть чудесную дудку. Но зато стоило отцу взять этот футляр в руки, как я уже был около него и не отходил, пока флейта снова не укладывалась на место. Часами я мог сидеть около отца, когда он ремонтировал свою флейту. Я внимательно смотрел, как он осторожно отвинчивает сложные сплете-



ния клапанов, отделяет пружинки, делает из тонкой замши крохотные подушечки и приклеивает их сургучом к клапанам. Потом он свинчивает флейту, подносит ее к губам, и серебряная трель переливается по комнате: она то спускается вниз, становится почти басовитой, то взлетает вверх и звучит там, будто какая-то неведомая птица уселась на притолке и встречает пением наступающий день.

Отец легко уступал нашим просьбам, часто и много играл. Впервые я услышал от него мелодии Глинки, Шуберта, Чайковского. Отец любил иногда играть, когда оставался в комнате один или же только со мной. Обычно это случалось в поздние субботние вечера, когда мать уходила к соседям, а старшие братья еще не возвращались с улицы, где они предавались своим играм, в которые меня по малолетству не принимали. Вот в такие тихие праздничные вечера отец — без моих просьб и уговоров — доставал флейту, садился в дальний угол комнаты и, глядя на стущающиеся сумерки за окном, начинал играть. Играл он много и разное, но из всего этого меня поражала и необыкновенно пленяла одна мелодия. Грустная и медлительная, она сладко волновала мое сердце, что-то подступало к горлу, и я не знал, что это такое: слезы или смех, радостно мне или грустно — я не умел понять, что же со мной происходит, когда я слышу эту музыку. И сейчас, когда я слышу эту мелодию, она меня трогает не только своей нетускнеющей прелестью, но и всплывающим из глубин памяти воспоминанием о времени, когда я ее впервые услышал. Это вальс из «Елки» Ребикова.

Для меня и моих братьев — родных, двоюродных и троюродных — верховенство наших родичей в музыке предоставляло особые, неотъемлемые права, выделявшие нас из всей армии городских мальчишек. И очень рано я уяснил себе великие преимущества брата.

Свадьба в нашем городе — событие выдающееся, занимающее умы, интересы и время далеко не только тех, кого это непосредственно касается. Задолго до самого торжества на скамейках и завалинках оживленно обсуждают меню свадебного обеда, наряды невесты, количество приданого, все подробности готовящейся церемонии. В назначенный день и час толпа ребят стоит полукругом у дома, из окон которого доносится пряный запах кушаний, звуки настраиваемых инструментов, шум праздничных приготовлений. Почти никто из нескольких десятков мальчиков,

нетерпеливо перебирающих в пыли босыми ногами в ожидании выхода свадебной процессии, не может и мечтать о том, чтобы попасть внутрь дома. Но я незаметно подвигаюсь все ближе и ближе к порогу в надежде, что меня кто-нибудь заметит. И действительно, взгляд замученной до полуобморока хозяйки дома падает на меня, прижавшегося к косяку двери. Она узнает меня. «А, эйныкл<sup>1</sup> реб Абрама!» — она хватает меня за руку, и вот я уже в доме — праздничном свадебном доме. Мне суют в руки липкий от меда кусок сладкого печенья — тейглах — и сразу же обо мне забывают. А я начинаю проталкиваться сквозь тесную толпу, окружающую два ряда стульев.

Начинается бизеценес — наиболее красивая часть обряда еврейской свадьбы. В центре комнаты в большом кресле сидит невеста под фатой. Перед нею на двух рядах стульев сидят друг против друга девушки и женщины — родные и подруги невесты. За их спинами — тесная толпа гостей, приглашенных на свадьбу. Женщины прихорашиваются, поправляют на себе шали, оборки, тесемки, ленты; мужчины вполголоса обсуждают выгоды сторон в заключенной брачной сделке; в уголке музыканты настраивают инструменты. Я проталкиваюсь ближе к ним, к моему отцу. И мне уступают дорогу, ибо я тоже не последний человек в этой толпе: это мой отец держит в руках флейту, это мои дяди будут играть, и это моего дедушку ожидают все эти нарядно одетые люди.

И вот он — выходит из дверей в сопровождении родителей невесты и жениха. На дедушке парадный сюртук, блестящий атласными лацканами, на голове черная шелковая ермолка, длинная белая борода доходит до пояса — он совсем непохож на того бедного старика, которого мы видим, когда бываем у него в гостях. Все замолкают, женщины заранее достают носовые платки и откашливаются, невеста тщетно старается скрыть любопытство и волнение. Дедушка, поддерживаемый хозяевами, с трудом взбирается на возвышение за креслом невесты и простирает руки над ее головой. Музыканты тихонечко, на одних скрипочках и флейтах выводят длинную, утомительно-печальную, бесконечно щемящую мелодию. Вздыхают и сморкаются женщины, невеста с трудом выдавливает из глаз первые слезы.

«Плачь, бедная невеста, плачь, — жалостливо произносит надтреснутый старческий голос дедушки. — Подумай, что ждет тебя в будущем, представь себе, что ты оставляешь и к чему

---

<sup>1</sup> Эйныкл — внук.

идешь...» Голос дедушки становится громче и грознее, страшными, черными красками он рисует мрачное будущее, ожидающее новобрачную. Он говорит ей о заботах и волнениях, о болезнях мужа и детей, о бессонных ночах у кровати больного ребенка, о забвении радостей и забав девичьей жизни. Скрипки поют все жалостливей, женщины уже не сморкаются, а плачут в голос, и невеста давно забыла свои притворные слезы — и нет сомнений в натуральности ее рыданий. Всеобщие вопли и стенания наполняют большую горницу, и мне тоже хочется поплакать над черной участью бедной, ни в чем неповинной невесты, которую губят неизвестно за что...

Но вот музыка резко оборвалась, дедушка делает глубокий вздох, переводит дыхание и продолжает: «Но... но ведь в твоей жизни, невеста, будут не только одни горести. Будут радости, и разве их будет мало?» Свадебный импровизатор не жалеет на этот раз самых ослепительных и радужных красок для изображения светлых сторон будущей жизни новобрачной. Он рисует богатую жизнь молодой четы, перечисляет достоинства будущих детей, восхваляет их ум и таланты, радость и гордость, которую они доставят счастливым родителям. Скрипки, флейты и кларнет снова играют, но это уже не прежняя мелодия, а другая, она становится все более радостной, более веселой. Мелодия эта растет и растет, она перекрывает слабый дедушкин голос, женщины уже не плачут, а улыбаются, и невеста прячет в оборках платья скомканный мокрый платок. И наконец дедушка восклицает: «Так будем же радоваться и веселиться!» — и оркестр сразу срывается в веселую плясовую. Сдвигаются стулья — начинаются танцы.

Жеманно плавают девицы, семянят ногами древние, пожелтевшие старушки, бурно пляшут мужчины, заложив пальцы за вырез жилетов, выгибаясь в разные стороны, развевая фалды сюртуков и разноцветные бороды. Во все окна заглядывают с улицы десятки лиц — взрослых и детей. Возгласы восхищения и удивления сопровождают выступление каждой пары, которая перед тем, как пуститься в пляс, кладет на большой медный поднос подарки жениху и невесте: столовые ложки, серебряные подстаканники, браслеты из дутого золота, ассигнации, серебряные и даже золотые монеты. Дедушка торжественно представляет каждую новую пару, вступающую в танцующий круг, превозносит щедрость гостей, подтверждающую их высокие нравственные качества. После всей этой церемонии свадебная процессия выходит из дома и направляется в синагогу. Над женихом и невестой несут красный балдахин, музыканты играют полонез Огинского.

Нам предстоит еще увидеть обряд венчания, свадебный обед, впереди еще много волнующих впечатлений.

Даже на таком демократичном и общедоступном празднике, как «пожарная репетиция», наша родственная близость к музыке давала нам значительные преимущества. «Пожарная репетиция»... Чтобы понять, что это такое, надо представить себе роль добровольной пожарной дружины в небольшом провинциальном городке. Созданная молодым Падзерским вкупе с несколькими либеральствующими земцами дружина по тушению пожаров имела значение гораздо более широкое, выходящее за рамки ее обязанностей. В пожарной дружине соблюдалось внешнее демократическое равенство, и отважный, беспутный топорник Бере-Лейб — сапожник и последний бедняк — стоял в ней выше владельца мануфактурной лавчонки, пребывающего в дружине на скромном положении качальщика пожарного насоса. Ежегодные «пожарные праздники» с гулянием, морем разлитым водки и пива, еженедельные репетиции, наконец, сами пожары являлись одним из самых значительных развлечений горожан и представляли очень важный вид общественной деятельности.

Такое значение пожарная дружина имела для взрослого населения города. Для детей же она была источником неизъяснимых наслаждений, доставляемых еженедельными «репетициями» — так назывались учения пожарной дружины, проводимые почти регулярно по четвергам. Всю неделю мы считали дни, отделявшие нас от очередной репетиции. Уже накануне, в среду начинались пытки ожидания. Ведь существовало огромное количество злосчастных факторов, которые могли сорвать завтрашний праздник: может ухнуть Падзерский; может случиться ненастная погода; мать может придраться к тому, что я объелся сливами и не отпустить меня на улицу; наконец, у Соли и Илюшки, без которых меня никуда не пускали, могут быть свои самостоятельные планы или вдруг они вспомнят, как третьего дня я нахально отказался уйти от них и тем самым помешал их набегу на плохо охраняемый сад Рытова... И я со страхом поглядывал на вечернее небо — не ползет ли обложная туча; в уборную я бежал тайком, скрывая это от мамы; я был невероятно предупредителен к старшим братьям и даже не пытался увязаться за ними, когда они затсвали вечернюю прогулку по соседней «зеленой» улице.

И вот оно настает — утро четверга. Все так, как хотелось: безоблачное небо и обильная роса обещают жаркий и сухой день. Я выбегаю на улицу, залезаю на высокое крыльцо соседнего дома

и с надеждой смотрю на торчащую вдали вышку каланчи. На ней колышется флажок, а сбоку висит черный шар — значит, репетиция состоится, и не простая, а «водяная».

К пяти часам вечера почти все мальчишки Горок и значительная часть взрослых любителей зрелищ собираются на Базарной площади. Возле каланчи идут последние приготовления: запрягают в брички с бочками и пожарными насосами раскормленных лошадей, выводят из конюшни знаменитого на всю округу жеребца-першерона — единственного способного в одиночку тянуть длинный и тяжелый пожарный ход. К каланче группами и по одному подходят пожарники — они неузнаваемы, эти приказчики и мастеровые, которых мы привыкли видеть всю неделю в оборванных и заскорузлых фартуках. Теперь на них мундиры с блестящими пуговицами, ослепительные медные шлемы, широкие пояса с крючками и кольцами неизвестного назначения. У пожарной аристократии — топорников — на боку в чехле висит пожарный топор — кирка. Дружинники выстраиваются, равняют строй, на правом фланге музыканты выдувают из труб пробные трели, и дядя Гиля на всю площадь кричит кому-то из них: «Фа, ты слышишь, босяк, фа надо!».

Глаза у всех устремлены к краю площади, где должен появиться начальник пожарной дружины Антон, или, как его зовут все в городе, Тонька Падзерский. Клубы пыли, несущиеся по улице, ведущей к дому Падзерского, предшествуют появлению начальства. В этой пыли возникают фигуры мальчишек, бегущих к площади. За этим авангардом, в окружении эскорта таких же мальчишек, идет сам молодой Падзерский. Как солнце горит его никелированный шлем, на нем парадный мундир, на цветном офицерском кушаке висит маленький топорик, о котором нам точно известно, что он сделан из чистого серебра. Все подтягиваются, раздается команда «Смирно!», дядя Гиля взмахивает одновременно головой и трубой, и оркестр гремит встречным маршем. Прикусывая от волнения язык, мы следим за дальнейшим развитием церемонии: обход строя, громкая команда, перестроение. Под марш «Старый егерь» дружина колонной выходит на Оршанскую улицу. Впереди и по бокам колонны — сотни мальчишек и взрослых, позади тарыхтит пожарный обоз.

На одной из окраинных улиц начинается учение. На какой-нибудь выбранный заранее дом со страстью и ожесточением бросаются пожарники. Топорники лезут по длинным лестницам на крышу, струи бьют в окна, визжат мальчишки, старающиеся попасть под теплую струю нагретой в бочках воды... Уже темнеет,

когда в том же порядке процессия возвращается обратно. Мы все устали, ноги заплетаются, и братья не ведут, а скорее волокут меня. Но все равно мы не уйдем домой, пока не повесят сушить похожие на удавов мокрые шланги пожарных рукавов. Я до того измучен и насыщен впечатлениями, ходьбой, волнением, что почти не слышу ворчания мамы, не чувствую ее рук, раздевающих меня, моющих, укладывающих в постель. Засыпая, я думаю о том, сколько еще нужно ждать следующей репетиции. Ах, как долго...

Было еще одно удовольствие, которое нам доставляли музыкально-родственные связи. Но оно уже не было таким доступным, как свадьбы и пожарные церемонии, и именно это придавало ему особую прелесть. В начале Дворянской улицы, на невысоком холме, где раскинулся городской бульвар, стояло длинное дощатое и низкое здание — кинематограф «Иллюзион». И в этом самом «Иллюзионе» — единственном кинематографе на всю округу — играл на скрипке дядя Гиля. Сообразно со своим вкусом, настроением и обширностью репертуара он сопровождал картину слезливыми романсами, бравурными маршами или входящими в моду новыми танцами: танго, тустеп, кекуок. Из того, что я рассказывал о характере дяди Гиля, очевидны все трудности, возникавшие при попытке воспользоваться именно этой родственной связью. Он вовсе не был расположен к тому, чтобы пускать в кинематограф ораву своих племянников, и нужно было проявить очень большую настойчивость, чтобы прорваться в «Иллюзион». Тем не менее такие попытки — с большим или меньшим успехом — делались довольно регулярно. Инициатором и руководителем таких походов всегда был Леком.

Вечером, после ужина, при хорошем настроении матери, мы втроем — под предлогом прогулки к тете Гите — направлялись на угол Дворянской. Там обычно нас ждали Леком, Миша и Нема и там обычно решалось: играть ли нам в «чижика» или в лапту, или же просто пойти вниз по улице в поисках вечерних приключений. И вот в один из таких вечеров я уже сразу, по возбужденному и таинственному виду Лекома, догадываюсь, что он задумал нечто из ряда вон выходящее. Он отводит в сторону Солю и начинает с ним шептаться. Они подзывают других членов компании и потихоньку посвящают их в детали какого-то предприятия. Меня не зовут, я стою в стороне, и ноги мои слабеют от ужасной догадки: они все пойдут в «Иллюзион», а меня не возьмут, потому что я маленький и мое присутствие уменьшит шансы на снисходительность дяди Гиля. И действительно. ко

мне подходят Соля и Леком и сладкими, противно-фальшивыми голосами начинают меня уговаривать идти домой, так как они-де пойдут далеко в парк и принесут мне оттуда красивые цветные камешки.

Огромная, ни с чем не сравнимая обида камнем ложится мне на сердце, я не отвечаю, поворачиваюсь и ухожу. Горе мое так велико, что я не в силах даже заплакать, у меня перехватывает горло, мне требуется некоторое время, чтобы дойти до угла, завернуть за него и там, уткнувшись лбом в первое попавшееся крыльцо, разразиться слезами обиды и унижения. Я иду, и моя согбенная спина, наверное, так выразительно говорит о моих страданиях, что Соля не выдерживает. Я слышу, как он срывается с места, бежит, догоняет меня, хватая за руку и возвращается со мной к замолкшей компании.

— Нет, — говорит он взволнованно, — я без него не пойду, идите сами, если хотите.

Он меня любил, Соля, и понимал, что любовь требует жертв...

Леком хмурится, лоб его перерезает складка, и он вдруг становится копией своего отца — сурового дяди Израиля. Но это длится мгновение, складка исчезает, он решительно машет рукой и командует: «Пошли все!». И мы шестером направляемся к кинематографу. Так как тактика наша меняется редко, я уже заранее знаю основной план похода: мы подойдем к задней двери, за экраном, где играет на скрипке дядя Гиля, дождемся, когда окончится часть картины, и будем тихонько стучать в запертую дверь. Дальше все будет зависеть от настроения дяди Гиля и нашей настойчивости. На улице уже темно, и мы сквозь гущу акаций осторожно подкрадываемся к заветной двери. Из зала слышны треск аппарата и звуки скрипки. То быстрые и громкие, то медленные и тихие, они помогают представить, что происходит на экране, и мое воображение рисует невероятные приключения Макса Линдера. От волнения меня знобит и зубы начинают выбивать дробь. Но вот треск аппарата и звуки музыки умолкли, в щелях здания возникает свет. Значит — перерыв между частями. Леком ставит нас вплотную к стенке у двери, а сам решительно начинаст стучать. Стучит он тихо, но так настойчиво, что даже дядя Гиля понимает: избавиться от назойливого посетителя будет нелегко. Мы слышим, как он недовольно кашляет, ходит взад и вперед, потом подходит к двери.

«Ну, кто это, что нужно?» Леком, прижимаясь ртом к самой двери говорит долго и страстно. Дядя Гиля ворчит, ругается и наконец спрашивает, один ли Леком. Леком клянется, что один и даже не будет пытаться остаться на следующий сеанс. Дядя Гиля вздыхает, еще раз обзывает Лекома босяком и нехотя открывает задвижки в двери. Вот тут-то и наступает кульминация нашего заговора: за Лекомом стайкой влетаем мы все. Момент выбран удачно, свет гаснет, раздается треск аппарата, и у дяди Гиля уже нет времени ловить нас, разбежавшихся по разным углам. Грозят нам всеми возможными карами, он берется за скрипку, а мы тотчас забываем о нем, потому что перед нами открывается новый, чудесный мир.

Перед нами висит глянцевитый мокрый экран, поливаемый водой перед каждым сеансом. Мы сидим по ту сторону экрана и поэтому видим все изображения «по-еврейски» — справа налево. Но нас не смущает, что все люди на экране — левши и делают движения, не совсем естественные для нормальных людей. Не имеет для нас значения и сюжет картины и то, что мы не знаем, с чего она началась. Нас одинаково интересует каждый эпизод в отдельности, вне его связи с предыдущим и последующим. Вера Холодная ломает руки, и по ее лицу стекают глицериновые огромные слезы; Макс Линдер вытаскивает из кармана вместо носового платка змею, опущенную туда его недоброжелателем; Глупышкин в ресторане спотыкается, и поднос с горячими кушаньями падает на лысины жующих людей; мы видим водяную пыль, разбрызгиваемую водопадом Иматра, и первый аэроплан, который, оторвавшись от земли, взмывает высоко над трибунами стадиона.

Чуть ли не большая часть наших детских впечатлений, занятий, удовольствий была связана с религиозной, обрядовой стороной жизни города. Во времена моего детства синагога была местом не только молитв, но и центром общественной и культурной жизни почти всех евреев города. В синагоге обсуждались проблемы, общие для всех прихожан, поведение каждого из них; здесь же совершали торговые сделки, нанимались на работу, передавали деловые и личные поручения — синагога была подобием клуба, и часто клубное начало превалировало над чисто религиозным. Неслучайно синагоги в городе имели ярко выраженный социальный характер. В Большой синагоге все места были за-



куплены богатеями, за счет их пожертвований она была пышно убрана, туда не допускались не только рабочие и ремесленники, но даже мелкие торговцы. Последние имели свою синагогу — победнее, поскромнее. Еще скромнее была синагога сапожников, медников и кузнецов. Но какова бы ни была социальная принадлежность каждого еврея, посещение синагоги считалось обязательным. Мой отец был всегда равнодушен к религии, вопрос о Боге никогда не занимал его, но тем не менее и он регулярно посещал синагогу и соблюдал религиозные обряды, ибо в противном случае поставил бы себя вне общества, в котором жил.

Представление о еврейской религии как воинствующей, фанатичной и нетерпимой не только преувеличено, но и, по моему убеждению, весьма далеко от действительности. Как всякая древняя религия, еврейская для многих давно уже выродилась в чисто догматическую традицию. В детстве мне приходилось жить среди очень религиозных евреев, и все они были глубоко равнодушны к вопросам веры, то есть того, что должно составлять дух всякой религии. И роль еврейского духовенства в основном свелась к толкованию того, какое мясо надо считать кошерным, а какое тrefным и как следует поступать в такой сложной ситуации, когда у бедняка молоко попало в мясное блюдо, а больше жрать в семье нечего.

Я писал это, размышляя о религии моих предков, за сорок с лишним лет до поездки в Израиль. Изменилось ли что-то во мне после посещения Земли праотцев, ощутил ли я иудаизм, как ощущаю я — и всегда ощущал — свое еврейство? Нет, пожалуй, нет. Конечно, меня трогали знакомые с детства молитвенные песнопения. И древние камни поражали мое воображение и вызвали душевное волнение. Но не в большей степени, нежели Храм Гроба Господня или Гефсиманский сад, или величественные храмы католической Италии, или духовная музыка христианских конфессий.

Зато было много в очаровавшей меня стране раздражающего: хасидская экзотика, покорное исполнение всех унижительных и мелочных требований, слепые категорические догмы, бесконечно далекие от гениального величия заветов, данных человечеству пророком со Священной горы. И хотя я никогда и ни с кем не вступал в ре-

лигиозные споры, но на правах старшего, спрашивал у своего религиозного и соблюдавшего все предписания племянника:

— Саша! Я уважаю веру в Бога, но мне непонятно, для чего ему нужно, чтобы в субботу в сортире было темно, ведь это представляет осязаемое неудобство даже для взрослых, не говоря уже о детях?

Но мой образованный и умный племянник, окончивший Московский университет и читающий лекции по истории еврейского народа, не мог внятно ответить на мой вопрос.

Впрочем, мой религиозный скептицизм уходил корнями в мое детство.

21969 10



## ПРАЗДНИКИ

С тех пор, как я себя помню, я не имел представления ни о какой божественной идее, ни о Боге. Любой сказочный персонаж был для меня более реальным и волнующим, нежели Бог. Зато религиозные обряды и обычаи крепко засели в сознании и памяти, с ними связаны очень сильные, часто необыкновенно поэтичные воспоминания. В первую очередь — это праздники. Даже обычная суббота и та была интересна и полна привлекательности. В этот день отец был все время с нами, мы досыта наедались вкусными кушаньями: тушеной картошкой с мясом и черносливом, знаменитым цимесом из моркови и другими прелестями. Были в субботние дни и неудобства: нам приходилось надевать праздничную одежду, лишавшую нас возможности предаваться обычным играм. Но это компенсировалось тем, что в синагоге нас ожидали встречи с многочисленными сверстниками и друзьями. Сама служба в синагоге была малоинтересной. Бесконечное громкое чтение молитв навевало скуку и сон. Но я еще не учился в хедере, не умел читать и поэтому был освобожден от необходимости стоять в синагоге около отца, наблюдать, как он разговаривает со знакомыми о разных делах, а потом вдруг в определенный момент хватается за молитвенник и начинает следить за сладкогласием кантора. Я мог свободно играть в саду при синагоге в пятнашки и в любимую игру еврейской детворы — пуговицы. Щелчками надо было загнать в ямку или сшибить с места пуговицу противника. Пуговицы котировались по очкам, в зависимости от их качества, и мена пуговиц была одним из серьезнейших наших занятий. Впрочем, и старшие братья, которые уже привлекались к молитвенной повинности, быстро удирали из синагоги и присоединялись к нам. Мы наполняли двор синагоги шумом и криком, пока не выходил суровый служка и не разгонял нас.

Суббота, хотя и была празднична, но обычна. Зато другие праздники запомнились своими обрядами, традициями, своеобразным и сложным ритуалом. Каждый из них был хорош по-своему. В осенний праздник Кущи особым ритуалом была торжественная вечерняя трапеза, обязательно под открытым небом. Правда, ужин происходил не в саду, не во дворе, а просто в сених, под открытым, специально сделанным люком, накрытым еловыми ветками. Очень приятно сидеть за праздничным столом, освещенным не обычной керосиновой лампой, а свечами, поднимать голову и видеть сквозь хвою мигающие в черноте ночного неба звезды.

Я не любил такой большой праздник, как Судный день, со множеством тяжелых и непонятных мне обрядов: все просят прощения друг у друга, и это прощение дается, но... при этом стегают тоненькими кожаными ремнями, и стегают довольно больно; идут на кладбище, молятся и плачут; идут на реку и бросают туда щепочки со своими волосами. Все молитвы в этот день печальны, молящиеся рыдают и стучат кулаками себе в грудь, из окон синагоги доносятся жалостливые или грозные звуки шофаров<sup>1</sup>. К тому же все постытся, и хотя пост на детей не распространяется, но и вкусного кусочка за весь день ни от кого не получишь. Нет, решительно этот праздник мне не нравился.

Зато красив и интересен был Пурим. Это очень веселый праздник: детям покупали яркие цветные флажки с фонариками на кончике древка, а по домам ходили ряженые и разыгрывали древнюю мистерию о том, как некогда хитрая царица Эсфирь расправилась с коварным и злым Аманом. «Актеры», в которых мы без труда узнавали наших родных и знакомых, были одеты в цветные балахоны, длинные ватные бороды спускались до самого пояса, они говорили неестественными глухими голосами и размахивали деревянными мечами.

Я уже не помню, чему посвящен праздник Ханька — в конце зимы. Но мне всегда казалось, что этот праздник придуман специально для мальчишек. За неделю до Ханьки начинались лихорадочные поиски свинца для отливки юлы, изготовленные деревянной формы. В этот день у каждого порядочного мальчишки обязательно была в руках четырехугольная свинцовая или деревянная юла. С помощью этой юлы можно было не только досыта, но и выгодно наиграться, ибо в этот день детям давали деньги на игру и разрешали безответственно предаваться азарту. Кроме того, каждому из нас вручалась тарелка со сладостями, кото-

---

<sup>1</sup> Шофар — рог, в который трубили по поводу важнейших событий.

рые мы должны были разносить по родным и знакомым. Нечего и говорить, что при этом значительная часть всех вкусных вещей поступала в нашу пользу, и в страшные минуты полного проигрыша это решительно ставилось на кон, как последний шанс отыграться.

Но, конечно, вершиной и венцом всех праздников был Песах. Он врезался в память не только разнообразием впечатлений и удовольствий, но и их продолжительностью. Приготовление к этому празднику начинались задолго, и младшее поколение принимало в этом самое деятельное участие. Первым признаком надвигающегося праздника была долгая и упорная подготовка к нему дома, посуды, утвари. Дело в том, что на Песах в доме не должно быть ни одного предмета, ни одного сантиметра территории, не очищенного от соприкосновения с хлебом — хомецом. Пасхальная уборка носила настолько изощренный характер, что, будучи скучным и обыденным делом, перед праздником она становилась для нас интересной: металлическую посудукалили, тарелки мыли в бочках, куда опускали раскаленные камни; полы, стулья — все деревянное — выскабливалось до невероятного блеска. Обычно, начав с одного уголка квартиры, Песах неотвратимо наступал на все остальные ее части. Таким пасхальным плацдармом был у нас угол столовой, где стоял шкаф с посудой. На вершину этого шкафа водружались штабеля мацы, завернутые в белоснежные простыни.

Даже самый процесс изготовления мацы напоминал праздник. Обычно для этого несколько семей объединялись в одну артель. Это называлось почему-то подрядом. В доме, выбранном для производства ритуальных лепешек, производилась неимоверно тщательная уборка, туда завозили муку, воду в новых бочках, приносили новые деревянные скалки — и закипала работа. Женщины за столами быстро раскатывали куски теста в круглый тонкий лист, мужчины месили тесто, ловко — специальными длинными палками — подхватывали лепешки, расстилали их на горячий под печи и через мгновение лопатой вынимали хрустящий, подрумяненный опренок. Был в этом конвейерном производстве и участок работы для нас — мальчишек. Раскатанная тонкая лепешка, перед тем как быть посаженной в печь, попадала на железный лист. Там маца, с помощью зубчатого колесика на палочке, покрывалась сетью маленьких дырок. Вот эта самая работа — с нашей точки зрения, самая ответственная и интересная — поручалась нам. Собственно, не мне, а более старшим ребятам, но случилось, что Соля и Илюша передоверяли мне заветное колесико. О, как дружно и весело работается в подряде! Женщины

поют песни, мужчины шутят, никто нас не щелкает по затылку, забыты все обычные распри между женщинами, соседями, родителями и детьми. Все дружно делают свое дело — для каждой семьи по очереди. Наконец, доходит эта очередь и до нашей мацы. Уже тут наша с братьями монополия на работу у железного листа никем не оспаривалась, и мне казалось, что наша маца выходит наиболее тонкой, поджаристой, вкусной. И вот листы уже укладывают друг на друга, завязывают в простыни и несут к нам домой на коромысле, как ведра с водой. Мы гуськом шествуем сзади, на ходу обламывая кусочки мацы, высовывающиеся из узлов. Дома мацу положат на шкаф и строго-настрого запретят даже близко подходить к ней.

Чем ближе Песах, тем суматошной и напряженной становится в доме, уже готовы столовая, спальня, мы все ютимся на кухне, на краю ее, едим все из одной тарелки — остальные уже прошли специальное очищение. И вот наступает день, в конце которого грядет желанный, долгожданный праздник. В середине дня мы в последний раз едим хомец. Последние крошки его сметаются со стола гусиным крылом в деревянную ложку, ложка эта — вместе с крошками хлеба и крылышком — увязывается в тряпку и вручается мне, как младшему в семье. Я должен пойти в кузницу и бросить последние остатки хомеца в огонь. Гордый оказанным мне доверием, в сопровождении братьев я отправляюсь в кузницу. Мы обгоняем и нас обгоняют такие же мальчишки, несущие в кузницы для сожжения свой хомец. Бородатый, закопченный кузнец реб Лейзер со вздохом мученика налегает на жердь мехов, огонь на горне вспыхивает, ярко горит наш хомец и вместе с ним сгорают все предпраздничные приготовления. Ночью — первый седер, начало праздника.

В русской литературе много поэтических страниц отведено описанию пасхальной всенощной, тому, как запечатлевается она в чуткой к новизне и красоте детской памяти. Вероятно, весенний праздник в религии каждого народа обладает такой же магией. Во всяком случае, невозможно забыть праздничную приподнятость Песах, занимательность и оригинальность его обрядов. Все непривычно и необычно для нашего дома, все непохоже на обычный его уклад. Нарядно убрана горница, на столе, застланном белоснежной накрахмаленной скатертью, расставлена новая, красивая посуда, которую вынимают из сундука только на Песах. Вкусные, непривычные кушанья и вино ожидают нас на столе. Перед каждым стоит серебряная рюмка: большая у отца, поменьше у матери, еще меньше — перед братьями. И даже мне

поставлена крошечная рюмочка. А самый большой бокал стоит отдельно в центре стола — он предназначен для Ильи-пророка. Возле стола на центральном месте устроено пышное сидение из подушек, на нем восседает отец, одетый в белый балахон. И начинается пасхальная вечерня — длинная, наполненная церемониями, смысл которых был нам не всегда ясен, несмотря на пояснения мамы — поэтические и красивые. Вот мы едим какое-то кушанье из редьки и тертых орехов — оно по цвету и вкусу должно нам напоминать ту глину, что месили наши предки на строительстве египетских пирамид. Но глина эта — харейис, несмотря на цвет и горечь, необыкновенно вкусная, и я автоматически отмечаю где-то в уголке памяти, что предки мои не так уж плохо жили... Мы едим странный суп из холодной и соленой воды с крутыми яйцами. Эта необычная похлебка кажется мне вкуснее всех маминых супов, хотя и она должна напоминать о чем-то очень противном в прошлом. Один из моих братьев нараспев, по-древнееврейски, задает отцу традиционные четыре вопроса — кашес. Он старается выразительно выговаривать незнакомые слова, а мать напряженно за ним следит, подсказывает слова и их перевод. Отец отвечает важно, а глаза его все время смеются, и мне кажется, что ему так же, как и мне, нравится эта невероятно занимательная игра, придуманная взрослыми, потому что и они тоже любят играть.

А игра действительно интересная. Всем наливают вино, наливают бокал и Илье-пророку и ставят его на край стола. Тезка пророка, мой брат Илюшка, бежит к двери, открывает ее, и отец торжественно провозглашает: «Борух габо» — приглашение Илье-пророку зайти и выпить с нами. Молчание воцаряется в комнате, и холодок пробегает по спине. Меня совершенно не удивило бы, если бы в открытой двери показалась белая борода пророка, и я уже заранее обдумываю свое поведение на этот случай. Но подумать об этом как следует не удается, дверь снова закрывают, отец пододвигает к себе одинокий пустой бокал и начинает — по отдельным каплям — лить туда вино. Он перечисляет при этом все кары, которые в свое время были посланы гневным Богом на врагов израильского народа: чуму, голод, саранчу, смерть первенцев и еще какие-то невероятные напасти. Все эти ужасы покоятся на дне проклятого бокала, к нему нельзя даже прикасаться, лишь в конце трапезы мать пошлет кого-то из нас вылить это вино где-нибудь подальше от дома. Весь седеp я со страхом смотрю на этот бокал, вмещающий все ужасы того, что сейчас назы-



вается «биологическим оружием». Впрочем, моя вера в этот кошмар поколебалась однажды после того, как я увидел, что Илюшка, которому поручено было вылить страшную жидкость в помойку, вместо этого бесстыдно за дверью пил это проклятое Богом вино. Я ахнул и хотел броситься к маме, но выразительный кулак, который показал мне брат, остановил меня. Я предоставил грешника его страшной участи и целые сутки после этого ждал, что его заест саранча и настигнет чума. Но этого не случилось, а дальше следить за исполнением грозной кары не было возможности, так как пасхальные удовольствия были столь разнообразны, что отнимали у меня все время и внимание.

А они — эти удовольствия — очень мало отличались от тех, которым предаются мальчишки всех наций во всех странах в дни весеннего праздника, как бы он ни назывался. Мы ходили на шлях пить березовый сок, лазали по деревьям и собирали красивые разноцветные птичьи яйца, играли в лапту и «чижика», со страстью играли в пуговицы и бабки, проигрывая праздничные сласти. Если еврейский праздник Песах совпадал с православной Пасхой, наши удовольствия становились еще ярче, наша компания увеличивалась, и на кон, кроме имбирного печенья, ставились еще и крашенные яйца.

Горки был типичным городом черты оседлости и носил ярко выраженный еврейский характер. Русские жили в пригородах: Слободе, Заречье, компактно заселяли несколько улиц: Зеленую, Солдатскую слободку. Но эта изоляция евреев от русских была очень условной. В первые годы моей жизни русские были для меня чужими, и я их немного побаивался. Мне даже казались не вполне своими те евреи, которые жили в Слободе и не боялись присаживаться на крыльцо большой часовни, стоящей на слободской площади. Но эта разобщенность быстро разбивалась общими интересами русских и еврейских мальчишек. Среди моих друзей и друзей моих старших братьев были русские. Ни в годы детства, ни в последующие годы жизни я никогда не ощущал в русском народе, в простых русских людях того, что называется анти-семитизмом.

Да, большую часть жизни я прожил, не испытав этой омерзительной — как вшивость — ненависти к евреям. Я в эту жизнь включаю и годы тюрем и лагерей,

где ни в одном слое заключенных — от «политиков» до «урок в законе» — не было и оттенка юдофобства. Неужели необходимы общее несчастье, общая беда, чтобы эту политическую, социальную, нравственную вшивость вывести?!

Но идиллическое представление о городе моего детства было поколеблено рассказами Лекома, всем страшным, что я услышал, вернувшись на волю. В семидесятих годах на совещании в Минске я рассказывал о своем детстве, об атмосфере доверия и уважения между людьми разных национальностей в нашем городе, о нашей детской вненациональной дружбе.

Закончив выступление, я увидел, что одна из стенографисток стоит в углу и плачет. Я подошел к этой немолодой уже еврейке и спросил, что с ней случилось.

— Ничего, — ответила она. — Я плакала от того, что услышала сейчас от вас.

— Почему?

— Потому что сейчас этого нет. Ничего похожего.

Вероятно, у каждого человека пренебрежение, злоба, ненависть к его национальности вызывает естественную реакцию. Мне кажется, что она носит совершенно индивидуальный характер. У меня основное в отношении к антисемитизму — брезгливость. Конечно, трудно оставаться равнодушным к тому, кто плюет в твою кастрюльку с супом на коммунальной кухне или же высыпает на тебя склянку со вшами — так в двадцатые годы делали одичалые беспризорники, когда не получали положенный кусок хлеба... Я безусловно антифашист, а антисемитизм почти обязательная составная фашизма. Но я — плохой борец. Мне мешает брезгливость. Не могу себя заставить взять в руки хоть что-нибудь из многочисленных погромных изданий. Как не мог бы вступить в спор с нравственно ущербным субъектом, даже будь он известный поэт или известный академик.

Уважаю людей, которые не брезгуют и не боятся вшей, — врачей, прачек, дезинфекторов, но сам добровольно не возьмусь за эту работу.

Разве что уже не в кастрюлю плевать будут, а угрожать ножом. Но тогда в свои права вступает естественная необходимость самообороны.

Но по-настоящему с ребятами другой нации и даже еврейскими детьми с других улиц я вступил в контакт только после того, как мое детство пересек революционный рубеж. В первые годы жизни круг моих друзей и сверстников был узким, хотя мне и казалось, что в нем заключено самое большое и интересное, что только можно иметь. Насколько я припоминаю, наша детская компания была чисто мальчишеской. У нас в семье девочек не было, сестры наших друзей были еще крошками, и возможность играть с девочками казалась мне чудовищно неправдоподобной. К дочери наших хозяев — Сонечке Минкиной, моей ровеснице, ходила подруга из богатого и, по горесцкой классификации, аристократического дома Винокуровых. Она была племянницей жены Винокурова и возбуждала мое любопытство и ненависть чопорностью аккуратного бантика, тщательно выглаженным фартучком, манерой смотреть на окружающих склонив голову и удивленным голосом спрашивать: «Даже»? Соня и ее подруга иногда делали попытки принять участие в наших играх, но безжалостно изгонялись нами. Сонину подругу я терпеть не мог, ее кокетливо склоненная голова и непонятное мне слово «даже?» выводили меня из терпения. И я безжалостно срывал с ее головы аленький бантик, беспощадно таскал ее за косы и тумачами изгонял с того кусочка территории, которую они облюбовали для игры в «классы».

В начале тридцатых годов на каком-то спектакле в театре Мейерхольда мой приятель Адька Свердлов, увидев кого-то в густой толпе, заполнявшей фойе, встрепенулся, толкнул меня кулаком в бок и сказал: «Вот самая красивая девушка в Москве!». Я увидел ослепительно красивую девушку, напоминавшую безукоризненно классическим лицом известный портрет Натали Гончаровой — жены Пушкина. Это была Нюся Ларина — племянница и приемная дочь известного своими необузданными фантазиями экономиста Ларина. Адька познакомил нас. Когда я начал рассказывать о новом спектакле, готовящемся у Мейерхольда, Нюся склонила сияющую красотой голову на плечо и удивленно сказала: «Даже»? Я зажмурился и увидел маленькую девочку — подругу Сонечки Минкиной. Это действительно была она... Больше

мы не виделись, потому что Нюся оказалась жертвой своей редкой красоты: она вышла замуж за Бухарина..

Истории всех людей, о которых рассказываю, имели продолжение. И почти всегда — грустное. Я все же встретил Нюсю Ларину, и не просто встретил, а оказался объединенным с ней общей судьбой, общими друзьями. В Анне Михайловне Лариной уже почти ничего не осталось ни от горькой манерной девочки, ни от московской красавицы. Ставшая какой-то маленькой, высохшей, морщинистой, она все еще полна нездешней, от тех, двадцатых годов сохранившейся энергии, убеждений, взглядов на людей и окружающую жизнь.

Прошедшая через невыносимые страдания и испытания в тюрьмах и лагерях, она сохранила не только заученное ею «завещание» Бухарина, но и дух того, прежнего времени, когда она была женой сначала «любимца партии», а затем опального, стоящего на пороге смерти и позора бывшего вождя. Она давала интервью, сама писала, выступала где только возможно и, борясь за доброе имя убитого мужа, рассказывала обо всем, что стало предметом недоброй истории.

И странно было видеть рядом с ней — активной и даже агрессивной — спокойное, всегда улыбающееся лицо сына, необыкновенно похожего на отца. Своего сына Нюся обрела после долгого и драматического поиска. Юра, которому власти отказали в праве носить фамилию отца, — Юра Ларин круто изменил жизнь, специальность — весь стереотип, навязанный ему теми компрачикосами, которые формировали из оставленных в живых детей врагов народа нужных обществу людей. Юра Ларин унаследовал от отца обаяние, мягкость и способности к рисованию. Их он развил, став профессиональным художником — очень своеобразным. Его акварели поражают не только цветом, но и непохожестью на прежде виденное.

Рассказ о первых своих радостях я хочу заключить самым главным открытием: я научился читать. Это было летом 1914 или

1915 года. Старший сын дяди Миши — мой тезка Лева — был настолько старше всех нас, что не стеснялся возиться с таким малышом, как я. Однажды он стал мне показывать буквы. Я довольно быстро научился их распознавать, но дальше мои успехи не пошли. «Ма-ма» никак не могло для меня стать «мамой», обрести ясный и столь знакомый смысл. Однажды мы с Левою шли по городу и он разговорился с какой-то знакомой девушкой. Я скучая стоял рядом, ожидая конца разговора, и разглядывал соседний дом. На нем была большая, хорошо мне знакомая вывеска, на которой был нарисован поднос с горой пышных, цвета ветчины франзелей. Чтобы не было сомнения в том, что это означает, внизу было написано: «Булки». Я долго смотрел на поднос и надпись, называл про себя каждую отдельную букву, и они вдруг — я сам не понял, как это произошло, — сдвинулись и образовали ясное и понятное слово «булки». Да, да — до сих пор помню, как я прочел первое слово в своей жизни и как дошла до моего сознания мысль о том, что я умею читать... Это было столь потрясающе, что я закричал, схватил за руку своего двоюродного брата и, задыхаясь от волнения, сообщил ему, что прочел вывеску. И мы с ним пошли дальше по городу, читая все вывески подряд.

Я захлебывался от наслаждения и гордости и не отпускал от себя Леву, пока мы не прошли по всей Оршанской улице и я не прочитал добрый десяток вывесок, даже такую трудную, как «Портной».

И долгое время после этого знаменательного дня чтение вывесок составляло для меня самое увлекательное, самое интересное занятие, вытеснившее даже такие, как лапта, игра в пуговицы. Вскоре не было на тех улицах, по которым мне разрешалось ходить, ни одной вывески, мною не прочитанной. Я уже освоил даже такое трудное слово, как «фотография», за один месяц узнал множество новых, не всегда понятных, но тем более интересных слов: бакалея, акушерка, богадельня, дантист, земская управа... А потом я стал разбирать и читать заголовки статей в газете «Копейка», которую выписывал отец. Я долго смотрел на газетный заголовок, повторял про себя наплывающие слова, потом откидывался назад и с трудно сдерживаемой гордостью говорил: «Разгром турецких войск нашей доблестной армией...». И меня очень хвалили, гладили по голове, я поворачивался к отцу и видел его смеющиеся от гордости и удовольствия глаза.

И все-таки это еще не было чтением. И я так и не помню, когда составление букв в слова потеряло для меня чисто спортивный интерес, когда впервые прочтенные строки донесли до меня мысль и красоту, заключенную в печатном слове. Но когда это случилось, передо мной открылся неиссякаемый источник огромных радостей и наслаждения. Они существуют даже сейчас, когда богатство и красота книг доступны мне только благодаря памяти. Как и все радости жизни, которые я испытал, они живут во мне, и никто не может их у меня отнять.

21969 11



## КАСИМОВ

**Н**икак не могу вспомнить начало войны. Первые воспоминания о войне — солдатские кокарды, появившиеся у нас, ребят, лубочные картинки, изображавшие подвиг казака Козьмы Крючкова. Одна из этих картинок, на которой отважный казак одновременно рубил и колот полтора десятка немцев, неотразимо действовала на мое воображение. О том, чтобы купить ее, не могло быть и речи, и я ограничивался тем, что часами простаивал на базаре у книжной лавчонки, рассматривая чубатого Крючкова и содрогаясь от страха и восхищения перед героем. Удивительно прочно устроен аппарат, фиксирующий детские впечатления. Я стал взрослым, но ни исторические исследования, ни интересные рассказы генерала Василия Ивановича Книги, ездившего когда-то с Крючковым в гости к царю, — ничто не в состоянии было полностью стереть мое первое впечатление от аляповатой лубочной картинки.

Итак — шла война. Сначала она доходила до нас разговорами взрослых, картинками в «Ниве», молитвами в церквях и синагогах о ниспослании победы русскому царю и православному воинству. А потом мы слышали странное и сначала малопонятное слово «беженец». Рыжебородый Арье-Лейб, наш сосед, стал балагулой — извозчиком — и перевозил беженцев; родные Минкиных стали беженцами и прислали отчаянное письмо, которое читалось и обсуждалось всей улицей. Городской сумасшедший Лейбеле заявил, что он беженец и уезжает из Горок, в которых прожил всю свою сумасшедшую жизнь. И вот мы своими глазами увидели этих людей. Странного вида фуры — длинные мажары с навесами из брезента — потянулись по улицам нашего города: Загнанные кони устало волочили их по пыли и грязи. Такие же загнанные и усталые люди погоняли коней, и из-под брезентовых шатров выглядывали равнодушные от усталости и несчастья лица. Это было весной 1915 года после катастрофы на Стоходе, когда царское командование ответило на вступление немцев в Польшу массовым выселением из прифронтовой полосы еврейского населения, как лиц подозрительных, которые могут шпионить в пользу врага. Так ведь всегда бывает у правителей: чем неудачней они воюют, тем больше у них возрастает тот вид энтузи-



азма, который Щедрин назвал «предупредительно-пресекательным». А евреи испокон веков служили вечным объектом этого наиболее распространенного вида правительственного энтузиазма. И вот они потянулись по шоссе и проселочным дорогам в Кричев, Ляды, Горки — в города и местечки, еще не затронутые войной. Все больше появлялось на улицах незнакомых еврейских лиц, дома набивались людьми, все больше появлялось во дворах и у домов беженских фур с оглоблями, задранными к небу, как руки бедняка, призывающие на помощь неведомого и грозного Бога.

И все тревожней становилось в нашем городе. Пойдут ли немцы дальше? Куда спастись от ужасов прифронтовой жизни, от казацких разбоев, от вражеского нашествия? Эти вопросы стали главной темой всех разговоров. И вот уже появились пионеры будущего исхода: наиболее энергичные и инициативные горожане начали покупать коней и телеги, оковывать колеса, упаковывать сундуки. У моего отца не было ни богатых сундуков, ни денег на приобретение лошадей. И все же наша семья одна из первых покинула родное, насиженное место.

Казимир Падзерский закрывал свою фабрику «Крем Казими-метаморфоза». Собственно, он ее не закрывал, а переводил в Москву, но это не меняло главного — отец лишился работы. С собой в Москву Падзерский забирал десяток самых квалифицированных и доверенных рабочих, отцу среди них не было места. Да если бы и была возможность у отца жить в Москве, это все равно было запрещено остальным членам семьи, а расставаться с нами отец не хотел. Закрытие фабрики означало для нашей семьи окончательный имущественный крах. Других предприятий в городе не было, ремесленником отец не был, не было у нас ни своего дома, ни коровы, ни огорода — ничего такого, что помогло бы перебиться в трудное время безработицы. И надо было бежать от нужды, от наступающего голода. Куда? Впервые тогда я услышал слово «Касимов».

Надежды, что можно будет найти приют и работу у родственников отца, не было. Из его братьев в живых оставался мой дядя Мойше-Давид, живший в Ярцеве и служивший скрипачом в местном кинематографе. Имущественное и социальное положение дяди было столь незавидным, что нельзя было рассчитывать на его помощь. И вот тут-то сказались более высокие родственные связи матери. У мамы был старший брат — Иосиф. Мы знали, что он живет где-то далеко, в русском городе, что он богат и знатен, потому что в большие праздники мы получали от него не только поздравительные письма, написанные на красивой бу-

маге с печатным штампом «Зубной врач И.И. Шапиро», но и небольшие денежные переводы для подарков детям. И в праздник Ханька наиболее существенным вкладом в фонд, выдаваемый нам для игры и лакомств, были именно деньги дяди Иосифа. Дядя Иосиф не только считал себя — в силу семейных традиций — обязанным помочь родным, но он любил свою сестру и быстро откликнулся на запрос о возможности переезда нашей семьи в город, где он жил. И мы едем в Касимов — далекий-предалекий город, в Рязанскую губернию, в город, находящийся еще дальше, чем Москва.

Вероятно, для моих родителей, в особенности для матери, бегство из города, в котором они родились, прожили большую часть жизни, создали семью, было тяжелым ударом, почти катастрофой. Но меня с первого же дня, когда я услышал о Касимове, не покидало праздничное, приподнятое настроение.

«Муза дальних странствий» — она пленительна в любом возрасте, но в детстве, в юности она неотразима, каждый взмах ее плаща открывает новые места, новых людей и дороги, дороги...

Ни слезы матери, вынужденно разорявшей дом, так любовно и упорно создаваемой ею, ни сумрачность отца не могли поколебать во мне этой праздничности. Был разгар лета 1915 года, когда мы двинулись в путь. Железной дороги тогда еще не было, и до Орши нам предстояло проехать сорок верст на лошадях. Я только этот первый этап путешествия и помню. Мы выезжали на двух извозчиках, провожаемые толпой родных и знакомых. Остаются позади сады и кузницы, мы едем мимо кладбищ, оставляем сбоку мельницу, проезжаем мост, и перед нами открывается широченный пыльный шлях, обсаженный великанами-березами. Так далеко я еще не заходил, такой дороги я еще не видел, она вьется, течет передо мною, загадочная и пленительная, — куда она меня заведет?

И дальше — ничего не помню. Не сохранились в памяти ни Орша, ни железная дорога, ни Москва, пересадки, вокзалы — ничего! В моей памяти непосредственно за выездом из Горок появляется река, огромная, поразившая меня река. Я стою на палубе парохода, вцепившись руками в проволоку ограды, и смотрю во все глаза, как бы желая навсегда запомнить проплывающие берега: они меняются ежеминутно, совсем как в кинематографе «Иллюзион». Из люка машинного отделения меня обдает жаром и запахом горелого машинного масла, мерно шлепаются в воду лопасти паровых колес, и — как некогда в кинематографе — меня томит страх перед тем, что это скоро, вот сейчас, окончится.

Вдали, налево, на высоком берегу показывается город: скопище домов, церквей, складов. Мы проезжаем мимо большой кирпичной многоэтажной фабрики, и я вслух читаю золотые буквы на металлической решетке: «Братья Зайцевы»; мимо огромных белых пароходов, стоящих у длинного здания с надписью «Пароходство Качкова». На пароходе усиливается шум, толпа пассажиров скапливается на палубе, меня хватают за руку и крепко держат, пока пароход, разворачиваясь, подходит к пристани. В густой толпе мы идем по сходням, и я вижу на пристани богато одетого человека в шляпе, с длинными волосами, он машет нам рукой и что-то кричит, но мы не слышим его голоса в шуме толпы. Рядом с ним — полная и очень представительная дама: таких я видел только подъезжающими на извозчике к Дворянскому собранию. Они обнимаются с моими родителями, чмокают нас и гладят по голове. Затем все усаживаются на извозчиков, и мы начинаем подниматься по длинному и крутому взвозу в город. Мы в Касимове.

Каждая еврейская семья, каждый еврейский род имеют свою гордость — наиболее замечательного, наиболее удачливого члена семьи. В семье моей матери этой гордостью был ее старший брат — дядя Иосиф. Действительно, он с успехом достиг той цели, о которой мечтает для своих детей каждый житель еврейского городка в чреде оседлости. Он выбился из бедной, полунищенской среды, получил образование, вошел как полноправный в круг интеллигентных и состоятельных людей. Он стал преуспевающим зубным врачом, женился на девушке из зажиточной интеллигентной еврейской семьи, стал заметным и уважаемым лицом в городе. Все эти блага, кажущиеся нам теперь такими незначительными, такими жалкими, дядя Иосиф добыл в упорной и жестокой борьбе с жизнью, для достижения этой цели требовались незаурядный ум, природная одаренность, железная воля и настойчивость.

Дядя Иосиф обладал первоклассным музыкальным талантом, абсолютным слухом и безукоризненным вкусом. Даже не имея законченного музыкального образования, он тем не менее был превосходным скрипачом, его признавали выдающиеся скрипачи нашей страны, знавшие его. Но путь к карьере через музыку был долг и неверен, и дядя Иосиф так и остался музыкантом-дилетантом, превосходным любителем, но только любителем. Свою страсть к музыке он удовлетворял редкими выступлениями в концертах, в составе любительского квартета, играющего дома, «для себя», любимые музыкальные пьесы.

Дядя Иосиф при своих способностях мог стать незаурядным человеком в науке. Он обладал острым и пытливым умом, на-

стойчивостью, умением видеть и распознать в науке новые и плодотворные пути. Но научная стезя тоже очень длинна и ненадежна, а карьера, вернее, обеспеченная спокойная жизнь, была тем божком, которому поклонялись, раболепно служили люди и того слоя, откуда он выбивался, и того круга, к которому он прибился. И дядя Иосиф стал дантистом, прекрасным преуспевающим дантистом, с огромной практикой, большими заработками, прекрасной репутацией. Он достиг своей мечты, своей цели. Он был богат, уважаем, у него была большая, хорошо обставленная квартира, много прислуги, счастливая и довольная семья. Его удоставляли своей дружбой самые богатые и знатные люди города, и ни один концерт в Дворянском собрании, ни одна интересная партия в винт в Купеческом клубе не обходились без его участия. Был ли он удовлетворен этим? Не знаю. Как и моя мать, он был скрытен, и трудно было догадаться о его настоящих мыслях, желаниях, мечтаниях. Только по его постоянной раздражительности, все более распространяющемуся скепсису можно было догадываться о том, что жила в нем тоска по чему-то большему, недостижимому.

Как и другие, выбившиеся в люди из низов, дядя Иосиф очень дорожил своим положением, он считал, что его путь — пример для всех и что в этой жизни можно настойчивостью и трудом пробить все социальные преграды. Дядя Иосиф столько сил потратил, чтобы пробиться в более высокий класс, что не мог равнодушно относиться к его крушению и гибели. Его политические убеждения не были левее кадетских, революцию он рассматривал как проявление и результат зависти неудачников к более удачливым и способным людям. Но все это я понимаю сейчас, «задним умом». В касимовский период моего детства я не был, конечно, способен разобраться в характере моего дяди, да мне, признаться, было не до этого.

Мы — я, мои родители и братья — жили в богатом, никогда нами прежде невиданном доме. В доме было много комнат с названиями, которые я никогда раньше не слышал: приемная, гостиная, кабинет, ватер-клозет... Здесь была невиданная мною мебель: мягкая, пружинистая, обитая бархатом, на изогнутых резных ножках. Здесь было множество книг, стоявших в нарядных застекленных шкафах, обилие самых замысловатых игрушек. И семья дяди Иосифа была совершенно непохожа на семьи других моих родственников. Тетя Вера — добрая и хорошая женщина, но воспитанная в убеждении, что если бедные евреи только частично виновны в том, что они евреи, то уж, безусловно, они несут полную ответственность за то, что они бедные. В этом ее поддерживала мать, жившая с семьей дяди Иосифа и вносящая

в дом непереносимый привкус мещанского «аристократизма» и высокомерия. Дети дяди Иосифа и тети Веры — обаятельная и милая красавица Матя, насмешливая хохотушка Люся, даже крошка Яня — все обращались с нами, как с интересными, но не очень дорогими игрушками. Нам показывали книги с чудесными и яркими рисунками, говорящих кукол, бегающий по рельсам паровоз с вагончиками и множество других игрушек, одна диковинней другой. Но все время я ощущал какое-то неудобство, скованность, тоску по мягкой пыли наших горечких улиц, где так приятно бегать босиком, по нашим незатейливым и веселым играм, по нашей простой, независимой прежней жизни. И, очевидно, такое же неудобство испытывали и наши родители. Мы недолго оставались в гостях, отец поторопился найти квартиру и работу. Но война, от которой мы бежали из Белоруссии, настигла нас в Рязанской губернии: отца, который был белобилетником из-за плохого зрения, взяли на войну.

К моему стыду, слезы и горе матери, растерянность в семье, новые заботы, свалившиеся на нас, — все это прошло мимо меня, как-то стороной, мало затронув мои мысли, мое внимание. Они в этот период полностью были заняты новым местом, в котором я очутился, — Касимовом.

Любовь и любопытство к новым местам, очевидно, свойственны большинству людей. Но у меня это имело и имеет форму страстного увлечения. Наслаждение, которое я испытываю от новизны места, иногда превосходит радость, получаемую мною от музыки, от книг. Каждый новый город, дом мне интересны, как интересна новая книга, каждая страница ее. И это относится к самым разным новым местам, вне зависимости от их исторической или эстетической ценности. Почти с одинаковым интересом я бродил по древним московским мостовым и по пыльным улицам станиц Ставрополя. Путеводители по городам всегда были моим самым любимым чтением, и мне кажется, что я не заблудился бы, попав в Равенну, что я быстро бы нашел тот большой мраморный дворец, на ступеньках которого некогда сидел Байрон... Касимов был для меня первым томом такой любимой книги, и чтению ее я отдавался с упоением.

Я это писал в лагере, когда, думая о своем будущем — если только оно будет! — мог надеяться лишь увидеть только те города, которые не значатся в списке двухсот семидесяти двух, куда человеку с тридцать девятой статьёй в паспорте соваться не следует. Но не знаю, за что, Бог оказался ко мне настолько милостив, что я

могу считать: баланс сведен, и он положительный... После моего освобождения я начал ездить и ездю так много, как это не могло присниться в самом сладком арестантском сне.

Я еще застал нераспавшийся Советский Союз, не были для меня «заграницей» ни прибалтийские республики, ни Средняя Азия. И я успел досыта насладиться прелестью маленьких латвийских городов, старинной больших городов Латвии, Эстонии, Литвы; горами и долинами Кавказа; снеговыми вершинами вокруг Иссык-Куля; пестротой мечетей и медресе Самарканда, Хивы, Бухары... А когда мне исполнилось восемьдесят, я начал ездить в «настоящую за границу». И продолжаю... И в великих городах, куда мне удалось попасть, я смотрел что хотел: улицы, дома, храмы, людей. Наверное, не очень красиво сознаваться, но в Париже я не ходил в Лувр, а в Лондоне — в Британский музей. Мне было интересно ходить по незнакомым улицам и площадям, заходить в церкви и небольшие выставочные залы, сидеть под тентом в крошечном кафе на улице, пить кофе и смотреть на людей, смотреть и слушать, не понимая ни одного слова. И я мог проверить свою память: в Равенне я посидел на ступенях того дворца, о котором в юности прочел в старом путеводителе.

Но также мне был бесконечно интересен и любой другой город. И маленький Касимов, о котором я не мог прочитать ни в одном из путеводителей, был, собственно, первой моей «заграницей» — городом, совершенно непохожим на мои родные Горки.

А Касимов действительно был по-настоящему интересным городом, и не только для человека моего тогдашнего возраста и жизненного опыта. Как и Горки, он был уездным городом, но общего между ними было очень мало. Впервые я увидел город, состоящий из каменных домов — красивых особняков, двух- и трехэтажных зданий, увидел асфальтовые тротуары, витрины магазинов, новый для меня уклад городской жизни. Любители пышных слов называли в дореволюционных газетах Касимов «рязанской Америкой», настолько он выделялся среди других уездных русских городов. Американского, конечно, в Касимове было немного, но город был своеобразный и богатый. Здесь жили купцы, ворочавшие миллионными делами, имевшие свои пароходы, пристани, фабрики — такие, о которых любил писать Горь-

кий. Лицо города еще больше определялось другой его особенностью: Касимов был полурусским, полутатарским городом. Этот старинный русский город, в котором по преданию умер Александр Невский, был подарен русскими царями татарским царевичам, сменившим эфемерную славу предков на надежные русские рубли. Касимовские царевичи довольно долгое время играли при русском дворе роль полувассалов, полушутов. Один из них — Симеон Бекбулатович — был даже назначен Иваном Грозным царем всея Руси — во время одного из тех ханжеских трюков, на которые был горазд этот популярный и любимый историей государь. Но ведь история нас учит, что подданным нравится, когда правители их убивают. Караси любят, чтобы их жарили в сметане...

Касимовские татары были своеобразным народом, мало схожим с казанскими, астраханскими и иными своими сородичами. На русский престол они претензий не предъявляли и довольствовались Татарской горой — гористой частью Касимова, заселенной почти одними татарами. Но зато они властвовали в другой части империи — имевшей немаловажное значение в русском дореволюционном государстве. Касимовские татары были официантами во всех крупных ресторанах России, они были владельцами чуть ли не большинства вокзальных ресторанов. Эти должности и обязанности были наследственными, они передавались из поколения в поколение, но где бы ни наживали деньги касимовские татары, они привозили их в свой родной город, к которому питали огромную привязанность. А деньги они наживали немалые. Такой касимовский татарин, какой в «Анне Карениной» прислуживает в ресторане Облонскому и Левину, в своем городе, в своем доме отдыхал от унижения и тягот трактирной жизни. Эти официанты строили себе в Касимове великолепные особняки, обучали своих дочерей в гимназиях, имели превосходные выезды. Некоторые из них, нарушая семейные традиции, становились купцами и заводчиками. Знаменитые касимовские юфть и сафьян, касимовские колокольчики, соперничавшие с валдайскими, производились на заводиках, владельцами которых были разбогатевшие бывшие официанты.

Богатство касимовских купцов сказалось в облике города. Здесь было очень много для уездного города учебных заведений: мужская и женская гимназии, прогимназия, реальное училище, техническое училище — одно из лучших в России. В городе был и свой театр, куда приезжали на гастроли даже столичные знаменитости. Но я был слишком мал, чтобы прельщаться всем этим. Зато уже тогда меня волновало ощущение величия старины, памятников которой было в Касимове много: древние церкви и ме-

чети, величественные торговые ряды — много интереснейших зданий, запечатленных Иваном Павловым в его замечательных гравюрах. А над всем этим старым и новым, шумным и богатым городом царила, придавала ему своеобразную окраску река — большая, широкая, необыкновенно красивая. При всем своем богатстве Касимов стоит в стороне от железной дороги, и только Ока является главной артерией, по которой курсируют и горожане и грузы. Пристани, кишашие людьми, грузчики, белые нарядные пароходы, понтонный мост, заокский ресторанчик «Кинь грусть» — все это новое и необычное надо было оглядеть, освоить, прочувствовать, и на это уходило все мое время, это поглощало мое внимание. Первый год касимовской жизни так и пролетел — незаметно и быстро, и я очнулся только тогда, когда на меня навалились новые сильные впечатления — я пошел в школу.



21969 12



## ШКОЛА

**П**ервым из всех нас стал учащимся старший брат Соля. Ему повезло: дядя Иосиф употребил все свое влияние, чтобы Солю приняли в техническое училище. Навсегда запомнилось волнение, с каким наша семья провожала брата на каждый очередной вступительный экзамен, затем нетерпеливо и тревожно ждала его возвращения. И вот, наконец, последний экзамен, Соля возвращается в сопровождении дяди Иосифа, в новенькой форменной фуражке, купленной дядей. Я и Илюша рассматриваем эту фуражку, трогаем золоченый герб, мы растеряны от гордого вида брата, от слез счастливой мамы, от сияющего лица дяди Иосифа, радующегося тому, что поставил сына своей любимой сестры на тот путь, который когда-то и его привел к обеспеченной жизни, к тому неопределенному, но существенному, что именуется «положением в обществе». И действительно, другими, более извилистыми путями, но Соля пришел к этой цели и так же дорого заплатил за нее, как и дядя Иосиф.

Со мной и Илюшкой забот было меньше. Осенью 1916 года мы поступили в первый класс Высшего начального училища. Мы облачены в форменные серые рубашки, подпоясанные широкими ремнями с медными пряжками, на которых красуются буквы «КВНУ». Мы теперь — «внучки» — настоящие ученики, у меня есть ранец из телячьей кожи, пенал, в котором лежат ручки и карандаши. Если я не сравнялся с Солей, то, во всяком случае, оставил далеко позади всех моих горецких босоногих друзей.

Первые дни в школе, трудные для каждого ребенка, для меня были еще более осложнены необычным положением, в котором мы с братом очутились: мы были единственными евреями в школе. Шолом-Алейхем в каком-то из своих рассказов утверждал, что в России нет города, в котором нельзя было бы встретить хоть одного уроженца Егупца, Амчислава и им подобных мест. И Касимов не был исключением. Но на весь город было только четыре еврейских семьи. Кроме дяди Иосифа там жили врач Майзель, ювелир Азбель и сапожник-закройщик Перетц. И все. Даже богослужение — минен — нельзя было организовать в Касимове, ибо для этого требовалось не менее десяти совершен-

нолетних мужчин. Поэтому на большие праздники мужчин, недостающих для проведения минена, приглашали из Рязани или Мурома.

После того, как первые годы моей жизни прошли исключительно в еврейской среде, было странно и непривычно очутиться в новой обстановке. Основная трудность заключалась в том, что я в школе был редким, экзотическим экземпляром. Ведь большинство школьников никогда не видели настоящего живого еврея. И класс, в котором я учился, стал местом экскурсий любопытствующих учеников всего училища. Кажется, для моих одноклассников я — в своем необычном положении экзота — был гордостью класса. Но я не испытывал никакого удовольствия от своей известности. Прежде всего, я не знал, как отвечать на многочисленные вопросы, сыпавшиеся на меня: за что мы распяли Христа? правда ли, что мы потребляем на Пасху кровь христианских младенцев? хватает ли еврейский черт Хапун только евреям, или же его полномочия распространяются и на православных? Даже ученики старших классов, уже говорившие басом и пощипывавшие верхнюю губу, — и те приходили ко мне и требовали ответа на такой сложный для меня вопрос: есть ли разница в анатомическом устройстве еврейских и русских женщин? Более любознательные ученики шли дальше: они крестили мой завтрак и с любопытством смотрели, буду ли я его есть, настойчиво совали мне в рот сало, но в общем это все довольно скоро закончилось. Завтрак, осененный крестом, я храбро съедал, давясь, и с безумным страхом, что об этом может узнать мама, проглатывал кусочек шпика. При этом я лягался и бил по голове наиболее любопытствующих. Однако скоро ребята потеряли ко мне интерес, и я закурился в общем потоке школьной жизни.

Учиться было весело и интересно. Я уже вполне сносно читал и весьма преуспевал в познании новых, прежде неведомых понятий и слов. Как ни странно, но наиболее для меня интересными были уроки Закона Божьего и церковно-славянского языка. Преподавал их отец Василий, грузный, толстый священник, порядочная скотина и придира. В методах педагогического воздействия на учащихся он был не очень разборчив и не стеснялся драть их за уши и лупить линейкой по пальцам. Собственно говоря, я имел все формальные возможности — как иноверец — уклониться от уроков отца Василия. Но сначала мне это не пришло в голову, а когда я надумал, то этому воспрепятствовал сам законоучитель. Я был первым учеником по его предмету, и когда никто в классе не мог прочесть трудный абзац, он вызывал меня, а потом угрожающе гудел: «Вот иудей, а как читает! А вы — дубье!». С уроков Закона Божьего он меня тоже не отпускал, заявив, что Ветхий

Завет я обязан изучать, понеже его участники обладают властью и над нами, евреями. А Новый Завет мне самому был интересен: что все-таки это была за история с Христом, и на кой черт моим предкам понадобилось его распять?

Отец Василий прочно врезался в мою память злым и гениальным хулиганством, сотворенным одним школьником, которому поп, очевидно, крепко досадил. Это было летом 1917 года. Мальчишка ночью всыпал в домашнюю уборную отца Василия, находившуюся в чуланчике при доме, полпуда дрожжей. На другой день половина города сбежалась к поповскому дому, чтобы увидеть необъяснимое и ни с чем несравнимое зрелище: потоки пузырящейся зловонной жидкости залили весь низенький поповский дом и выливались из всех окон. Растерянные и ошеломленные поп и попадья, поповичи и поповны стояли на улице возле своих пожитков, которые едва успели вынести, и с ужасом смотрели, как шифоньеры, комоды и буфет тонут в извержения невиданного вулкана, открывшегося в их уборной. Это зрелище невозможно забыть, воспоминание о нем до сих пор приводит меня в веселое настроение. Гайдар, которому я рассказал этот эпизод, даже собирался сделать его сюжетом для рассказа. Не помню, осуществил ли он свое намерение.

Мне не долго пришлось глотать корешки дореволюционной науки: следующий год моей школьной жизни был годом революции. События февральской революции, «медовые месяцы» свободы мало мне запомнились. Пустая рама без портрета царя в зале училища, митинги и собрания, гимназистки, продающие красные флажки с портретом Керенского, плакаты с изображением облигаций «Займа свободы» — эти разрозненные клочки впечатлений то выплывают на поверхность памяти, то тонут. Зато прочно и навсегда остались в памяти картины Октябрьского переворота. Он не прошел мирно и бескровно в Касимове. Касимовские буржуи были многочисленны и сильны, им было что защищать, и они не хотели сдаваться без боя. Они создали из учащихся, из своих приказчиков и мелких торговцев сильные отряды. Эти отряды назывались по-разному: «отряды самообороны», «татарская дружина», «ударный батальон» — все они наполнили город гимназистками с винтовками в руках, треском выстрелов, атмосферой войны. Большевистской опорой были отряды рабочих затона, сетевязальной фабрики братьев Зайцевых, пристанских грузчиков. Ожесточенная борьба велась в городе несколько дней с переменным успехом. В победах то одной, то другой стороны неизменным трофеем был либеральствующий профессор Салазкин, происходивший из богатой касимовской купеческой семьи и ус-

певший побывать министром просвещения в одном из многочисленных кабинетов Керенского. После неудачного своего выступления на политической арене Салазкин приехал в родной город, где — как бывший министр Керенского — стал переходящим призом в ожесточенной борьбе между силами революции и контрреволюции. То в этой борьбе побеждали красные, и Салазкина под охраной красногвардейцев вели в тюрьму, то верх брали белые, и тогда толпа гимназистов с криками «ура» тащила на руках из тюрьмы растерянного старика.

Так продолжалось несколько дней. Ходить по улицам было небезопасно, шальные пули свистели над головами, обыватели забились в свои дома и не показывали носа. Мама приняла самые решительные меры к сохранению своего потомства от превратностей гражданской войны: наша квартира была заперта, все мы загнаны в заднюю комнату, где было введено настоящее осадное положение — нам запрещено было даже входить в соседнюю комнату, где стекло на улицу было выбито какой-то случайно залетевшей пулей. Электричества в городе не было, мы сидели, сбившись в кружок, при тускло мигающей коптилке и вслушивались в выстрелы, беготню и крики в непроглядной осенней ночи. Так прошло несколько суток. Однажды ночью мы услышали топот тысяч ног — это был даже не топот, а мерное гудение, от которого дрожал наш маленький домик. Забыв про все мамины запреты, мы кинулись к окнам. Огромный отряд людей с винтовками и факелами шел по ночной улице. Это были рабочие Гусь-Литейного, пришедшие на помощь касимовским большевикам. Когда на другое утро мы проснулись — в городе была советская власть.

Касимов революционной поры в моей памяти живет еще одним событием, ставшим для меня источником совершенно новых интересных впечатлений, — выборами в Учредительное собрание. Казалось бы, это чисто политическое событие не имело отношения к нашей семье. Мама одна, без папы, крутилась, стараясь как-то прокормить и сохранить семью, а нам уж и вовсе не было дел до Учредилки. Но... Но мама сдала одну из наших двух комнат под нечто, имеющее прямое отношение к большой политике. Не помню точно, что это было: избирательный участок или же то, что позже стало называться «Агитпунктом». А может быть, это было и то и другое.

Но половина нашей маленькой квартиры превратилась в нечто чрезвычайно для меня интересное. Наш избирательный участок объединял партии разные, но только «социалистической ориентации»: большевиков, меньшевиков, эсеров и даже анар-

хистов. Кадетов не помню, наверное, они помещались в более respectable месте. Из нашей комнаты вынесли все вещи, привезли большой стол, длинные лавки и несколько стульев, а главное, несколько шкафов, уставленных книгами. На столе, на лавках, на полу лежали груды брошюр с программами разных партий, листовки с биографиями кандидатов или же просто с пламенными призывами к чему-то. Утром появлялись дежурные, к вечеру комната заполнялась людьми, которые непрерывно курили, разговаривали, а больше кричали. Мне казалось, что они все время ссорятся. Наверное, все же разноликие партии собирались по какому-то расписанию. Потому что всеобщий крик обычно кончался хоровой песней, а пели они совершенно разное.

Но самое главное: вечером все уходило и политический центр города оказывался в нашем полном распоряжении. Большие плакаты у нас шли на изготовление великолепных воздушных змеев, из листовок получались прекрасные бумажные дропки, неприбранные краски шли на то, чтобы наши игры в индейцев максимально приблизить к реальной боевой обстановке. Для меня, конечно, первейшим соблазном оказался книжный шкаф. Большинство книг было, вероятно, политического содержания, и они меня мало занимали. Но было много почему-то популярных книг Рубакина, Лункевича и множество книг из биографической серии, издаваемой Солдатенковым. И несколько десятков чистой беллетристики — маленькие желтые книжечки «Универсальной библиотеки». Они были самого разного содержания, среди них я запомнил книжечки Арцыбашева «Санин» и «Ревность». Названия книг этих я запомнил, ибо старший брат мне категорически запретил даже прикасаться к ним. Надо ли говорить, что я прочел их первыми. Правда, не запомнив не только сюжета, но даже ни одного действующего лица, кроме фамилии героя — наверное, очень торопился.

И еще от бурной политической жизни в нашей квартире в памяти осталось много революционных песен. У большевиков и меньшевиков песни были одинаковыми: «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянка», впервые услышал «Интернационал». У эсеров почему-то больше пели старое, всем известное «Отречемся от старого мира...». Но на меня наиболее сильное впечатление произвел «Гимн анархистов». Самих анархистов было немного, может быть, около десяти, это были молодые, очень молодые люди, непонятно чем занимающиеся. Но свой гимн они пели стоя, сжимая кулаки, и гимн этот меня потрясал своей силой и беспощадностью. Я его запомнил на всю жизнь:

Споемте же, братья, под громом ударов,  
Под залпы расстрелов, под пламя пожаров,  
Под знаменем черным гигантской борьбы,  
Под звуки набата призывной трубы...

Совершенно не помню, как закончилась эта первая избирательная кампания в моей жизни, кого выбрали, как выбрали... Комната сразу же снова превратилась в семейный очаг, и домашние дела вытеснили политику.

Все закрутилось в вихре необыкновенно важных для меня событий. Их было множество, в самых разных областях моей жизни. Школу нашу объединили с другой и отвели для этого огромный роскошный дом, где было недавно епархиальное училище — там обучались поповны. Дома произошло событие, также принесшее кардинальные перемены, — приехал отец. Усталый, постаревший, с седой щетиной на впавших щеках, в грубой солдатской рубахе. Что-то оборвалось и дрогнуло у меня внутри, когда я прижался к нему, когда увидел его необычно серьезные и сумрачные глаза. Вот бы поговорить с ним, оттащить его от других, взрослых, мешающих мне как следует расспросить его о войне, о том, почему он таким стал. Почти сразу же после приезда отец заболел сыпняком, а вслед за ним заболели мы с Солей. Я очутился в одной палате тифозного барака с отцом, нас положили рядом, и я затем долго вспоминал свою болезнь как одно из самых радостных событий моего детства.

Когда прошел период беспамьятства и бреда, когда уже миновал кризис и началось долгое выздоровление, я обнаружил рядом с собой отца — неузнаваемо похудевшего, но ставшего сразу молодым, с коротко подстриженными усами — самого хорошего и красивого человека на свете. И он был полностью в моем распоряжении, никто не отнимал его у меня, он никуда не спешил, ему беспрепятственно можно было задавать тысячи вопросов и слушать неторопливые ответы.

Напряженным и интересным был первый послереволюционный год! Школа отнимала мало времени: там непрерывно происходили какие-то реорганизации, появлялись и исчезали новые учителя и учительницы, на уроках мы пели песни или слушали стихи, посещение уроков стало почти необязательным, и мы могли отдавать все свое время другим, более увлекательным занятиям. Во-первых, это было чтение. Городская библиотека, прежде для нас недоступная, раскрыла перед нами двери. Больше того, библиотекарем работала младшая мамина сестра — тетя Хася, которая также нашла в Касимове приют, спасаясь от военных и ре-

волюционных неурядиц. И, естественно, что при ее помощи нам в первую очередь доставались книги, служившие предметом охоты всех мальчишек Касимова: толстые тома журналов «Вокруг света», «Мир приключений», растрепанные вороха книг Густава Эмара, Майн-Рида, Луи Буссенара, Луи Жаколио и тому подобных властителей дум нашего поколения. Книгами были завалены обе комнатки нашей квартиры, они лежали в самых неожиданных местах, даже за обедом я клал на колени книгу и, делая вид, что очень занят супом, тайком пожирал страницы Буссенара.

Когда я работал в детском издательстве и редактировал книги для детей и юношества, то тщетно пытался в педагогической литературе найти ответ на занимающий меня вопрос: откуда у мальчишек берется эта неистребимая страсть к играм в охоту, войну, нападения, разбойников? И это ведь не является результатом чтения книг: деревенские мальчишки, не читавшие Эмара, с таким же упоением предаются этим играм, хотя и не подозревают об индейцах. Удивительно, как в детстве сильны склонности и инстинкты, восходящие к далеким временам, когда наши предки из-за неподеленного мамонта лупили друг друга дротиками и палками, не прибегая ни к бактериологическому оружию, ни к чудовищной лжи.

Однажды в издательстве один из наших авторов — профессор Мантейфель — принес картонку. Он смахнул с моего стола все бумаги, бережно раскрыл картонку, осторожно вынул из ваты, наполнявшей ее, огромное яйцо и положил его на полированную поверхность стола. Мы стояли вокруг и с недоумением глядели на Мантейфеля. Профессор таинственно оглянулся, приложил руку ко рту, приглашая нас соблюдать тишину, и вдруг издал дикий пронзительный крик. Яйцо, до этого неподвижно лежавшее на столе, вдруг покатилося... Мантейфель подхватил его, уложил снова в вату, торжествуя на нас оглянулся и рассказал чудесную историю. Оказывается, в этом яйце находится страусенок, который не сегодня-завтра должен вылупиться. Несколько поколений предков этого еще не появившегося на свет страусенка, родились в Московском зоопарке, не видя никогда пустыни Африки. И все же, когда Мантейфель издал крик, которым вожак стаи страусов предупреждает об опасности, неродившийся еще страусенок пустился в бегство, он начал перебирать ногами, и яйцо покатилося по столу... Я немного отвлекся для



того, чтобы рассказать эту занимательную историю, но в детском возрасте — сильнее, чем в каком-либо другом — действительно проявляются древние инстинкты нашей породы.

Так вот, было чудесное жаркое лето 1918 года. Необычайное чувство свободы владело нами, мальчишками, не менее, чем остальными гражданами России. Не было городских, классовых надзирателей, инспекторов. Даже родители махнули на нас рукой, и никто не мешал нам заниматься тем, чем мы хотели. В нашем распоряжении был весь город, все его окрестности, весь мир. Любимым местом наших игр был огромный глубокий овраг, отделявший Татарскую гору от равнинной части города. В нем было все, что удовлетворяло нашу потребность в реальном воплощении прочитанных книг. В овраге мы устраивали засады для нападения на враждебное войско, в песчаных обрывах оврага выкапывали пещеры, на берегу быстрого ручья на дне оврага промывали золотиносный песок и набивали карманы слитками золота. И все это было настолько интересно, что даже Соля иногда забывал о своем солидном положении учащегося КТУ и присоединялся к нам.

Не меньшее удовольствие доставляла нам Ока. Никто теперь не запрещал нам проводить на реке целые дни. Мы уютно устраивались на плашкоутном мосту, удили рыбу, прыгали в привязанную к плашкоуту лодку, когда проходил пароход, чтобы покачаться на волнах. Частенько мы уходили за реку. В маленьком загородном ресторане со смешным названием «Кинь грусть» никого не было. Никто там не гулял, не кидал грусть, и пустые беседки ресторана превращались нашим воображением то в рыцарские замки, то в притоны разбойников. Мы даже рисковали заходить дальше, в настоящий лес. Это был тот знаменитый муромский лес, где жил Соловей-разбойник, где нападали на купцов, едущих из Мурома в Касимов. Теперь на нас никто не нападал, и лес представлял перед нами во всей своей совершенно необозримой красе: с полянами, заросшими ирисами и ландышами, с прогалинами, красными от земляники — идем по ним и за нами остаются розовые мокрые следы...

За всеми этими удовольствиями мы мало замечали перемены, происходившие дома. А они были очень значительны. После приезда из армии отец не мог найти работу. Сетевязальная фабрика и десятки маленьких заводиков закрылись, в городе было много безработных, и отец все время пробавлялся случайными заработками. Он работал то грузчиком на пристани, то нанимал-

ся перевозить грузы на лошадях из ближайших сел. Жизнь в нашей семье становилась все более тяжелой и голодной. Уже не приходилось рассчитывать и на помощь дяди Иосифа. Его бывшее влияние сильно покачнулось, его именитые знакомые или бежали из города, или сидели в тюрьме, или превратились — как и он — в брюзжащих и всем недовольных людей. Да и отношения между отцом и дядей Иосифом испортились. Отец был на стороне большевиков, и это казалось моему дяде предательством всех традиций, изменой всему, чему он нас учил. Одним словом, родители мои решили возвращаться в Горки. Ничего у них там не осталось, и ехать предстояло в полную неизвестность. Поэтому было решено, что отец поедет сначала один, осмотрится и уж затем приедет за семьей. А чтобы хоть немного разгрузить от забот мать, у которой на руках, кроме трех старших, был еще годовалый ребенок — мой младший брат, было решено, что отец заберет меня с собой.

21969 13



## ВОЗВРАЩЕНИЕ

**И** я снова пускаюсь в путь. Как некогда из Горок, так и сейчас из Касимова, без сожаления, с радостью собирался я в дорогу. Конечно, жаль было покидать интересный город, расставаться с братьями, но ведь впереди был долгий путь — я снова увижу незнакомые города, железнодорожные станции, большие, многоэтажные дома — ради этого стоило бросать все милое, но привычное. И вот я снова на пароходе. Прижавшись к поленице дров, я гляжу, как уплывает Касимов, как скрывается за поворотом пристань, на которой стоят мои родные и машут нам вслед.

Было это в начале осени 1918 года, мне было десять с половиной лет, и я мог уже в полной мере наслаждаться обилием новых впечатлений. Их было много, и на этот раз я уж старался ничего не пропустить, я даже боялся спать — вдруг не увижу, не услышу что-то новое, незнакомое мне. Я досыта наслаждался трехдневным путешествием на пароходе, красивыми берегами Оки, оживленными пристанями Сасова и Елатьмы. Я проехал на подводе всю Рязань, из конца в конец, и у меня заболела шея от непрерывного рассматривания красивых церквей, трехэтажных домов, вооруженных людей самого разного вида. Карманы мои были набиты книжками, которые мне надали пассажиры на пароходе, но мне даже читать было некогда — так я был увлечен ролью путешественника.

И наконец мы с отцом оказались ночью в огромном недостроенном, похожем на сарай здании Казанского вокзала в Москве. Он весь забит людьми, нельзя пройти, не наступив на спящих, лежащих, сидящих. Утром, погрузив вещи на двухколесную тележку, которую катил какой-то парнишка, мы пошли по Москве. Улицы были пыльными и засоренными, будто их не подметали со дня основания города. Сумрачна и неуютна была Москва осенью 1918 года. Дома стояли облупленные, исчербленные следами пуль. Повсюду встречались сожженные здания и худые озабоченные люди в выцветших солдатских шинелях.

Трудная жизнь ощущалась везде и во всем. Мы остановились у дяди Миши, где-то на Немецкой улице, в унылой и пустой комнате, и по тому, как бережно он отрезал тоненькие ломтики

черного хлеба, я понял, что хлеб у них редкость и добывается с трудом. Дня два-три мы ходили с отцом обедать в «Метрополь». Там жил двоюродный брат отца, какой-то крупный военный работник — комиссар. Невысокий, с ввалившимися от усталости глазами, перепоясанный ремнями, как маленькая лошадка шлеей, он разговаривал с нами, почти засыпая, и оживлялся лишь тогда, когда отец напоминал ему какие-то неизвестные мне имена и даты. Комиссар вырывал из своей карточки крошечные кусочки бумаги и по ним в бывшем ресторане «Метрополь», ставшем столовой для ответственных работников, нам выдавали суп из воблы и сушеной картошки и невкусную перловую кашу. Огромный зал ресторана под стеклянным куполом был полон озабоченными, торопящимися людьми. Я сидел у пустого, высохшего бассейна и с тоской посматривал на худые, суровые лица. Уехать из Москвы было сложно, поезда ходили нерегулярно, и папиному родственнику с трудом удалось устроить нас в воинский эшелон, уходивший с Александровского вокзала. Вечером он отвез нас на машине на вокзал и усадил в теплушку, полную красноармейцев, постоял еще несколько минут у вагона, разговаривая с отцом, потом неловко поцеловал меня в щеку и ушел, поскрипывая ремнями. Больше я его не видел — он был вскоре убит на деникинском фронте.

И запомнил я только его имя. В семидесятых годах мне позвонил какой-то человек, представившийся отставным генералом, изучающим все документы, касающиеся Ленина. Генерал обнаружил путевку Московского комитета РКП (б), выписанную Ленину для участия в митинге на заводе Михельсона. Путевка была подписана: «За секретаря МК — Н. Разгон».

— Его звали Николай? — заинтересованно спросил генерал.

— Нет, его звали Наум.

Генерал сразу же утратил интерес к своему выдающемуся научному открытию и быстро, не попрощавшись, положил трубку.

Сутки, проведенные в армейской теплушке, самые приятные во всем моем путешествии. В вагоне было темно и тепло, потрескивала печка, меня усадили возле нее, и я без усталости читал красноармейцам басни Демьяна Бедного, которыми меня снабдили в «Метрополе» какие-то девушки. Солдаты покатывались от хохота,

совали мне осклизлые куски сахара, мне было очень приятно, и я украдкой смотрел на отца, с трудом скрывавшего улыбку гордости за сына... А потом мы сошли в Ярцеве и жили несколько дней в маленьком доме около большой фабрики у папиного брата Мойше-Давида. Я познакомился с двоюродными братьями и кузиной Соней, они водили меня в кинематограф, где дядя играл на скрипке, и я старался все запомнить, чтобы потом рассказать обо всем Соле и Илюшке. А в конце своего путешествия я увидел немцев. Орша была пограничным пунктом немецкой оккупации, и за тремя рядами колючей проволоки я увидел немцев — точно такими, какими увидел их впервые на лубочной картинке, изображавшей подвиг Козьмы Крючкова — в остроконечных касках, с пышными усами, в жестких, негнущихся мундирах.

И вот я снова в Горках. Всего лишь три года я отсутствовал, но какие перемены произошли за это время! Я и сейчас могу вспомнить почти каждый день моей неотнятой жизни, и каждый из них неповторим в своем богатстве и прелести. За те три года, что я провел в Касимове, многое изменилось и в мире, и в нашей стране, и в Горках, но ведь не меньше изменился и я сам. Я снова в своем родном городе, но я повзрослел и понимал теперь намного больше, чем тот мальчик, который покидал его. И это признают все мои двоюродные братья и сестры и все мои сверстники. Они почтительно оглядывают мой костюм: длинные брюки, гимнастерку, кожаный ремень с выпуклыми буквами «КВНУ» на натертой кирпичом пряжке. Их удивляет, что я разговариваю по-русски почти без акцента, знаю множество незнакомых слов и рассказываю про незнакомую им жизнь. Меня водят по городу, и я с трудом воскрешаю в памяти свое недавнее детство. Как все изменилось! Нет Дворянского собрания — есть Народный дом; в доме Зайцевых — профсоюзный клуб; сапожник Бере-Лейб стал начальником пожарной дружины, и оркестр встречает его торжественным маршем, когда он, окруженный толпой мальчишек, подходит к строю в шлеме Тоньки Падзерского, с его серебряным топориком на офицерском цветном кушаке...

Нет, все изменилось. И изменились мои друзья. Леком в длинных брюках, страшно важный, несмотря на то, что он одного роста со мной, как бы между прочим, сообщает мне, что в институте у них каждую субботу вечеринки с танцами и что он меня «познакомит»... Ну, что ж, можно и познакомиться — ведь и мы не маленькие и не из Ляды приехали в Горки, а из самой Москвы, и видели Кремль, Казанский вокзал и живых немцев в

Орше. В ближайшую субботу Леком повел меня в институт на вечеринку. В огромной полупустой и темной зале мальчишки и девочки — подростки четырнадцати-пятнадцати лет — танцевали под звуки разбитого рояля, играли в фанты и какие-то другие незнакомые мне игры. Все они были старше меня, и я себя не очень уютно чувствовал в этой непривычной обстановке. Но Леком меня «подавал» со знанием дела и увлечением. Он знакомил меня с девочками и сам отвечал на их вопросы — говорил, что, конечно, я танцую, но не люблю заниматься подобными пустяками. Попутно я выяснил полное невежество своих собеседниц в определении различия между скунсами и команчами, незнание ими основных приемов ловли слонов в тропических джунглях. С помощью этих нехитрых маневров — как мне казалось — я весьма искусно замаскировал свое полное неумение танцевать и страх перед новым, девичьим обществом.

Но более мне не пришлось ни ходить на вечеринки, ни красоваться своим положением знатного путешественника. Отец уехал в Касимов, и на всю зиму я остался на попечении Израиля Данкмана — сапожника не только по профессии, но и по своим педагогическим взглядам и убеждениям. А задачу в отношении меня он поставил большую и благородную. Мой религиозный дядя считал, что он заслужит мишве — прощение многих своих грехов — за мое перевоспитание. Ему решительно не нравилось, что еврейский мальчик совсем обрусел, не умеет читать по-еврейски, начинает забывать еврейский язык, что даже звать его стали не по-еврейски, а по-русски. «Левка! Что это за имя такое! — возмущался дядя. — Левкой пастуха здешнего зовут, а ты Лейбеле, еврейский мальчик Лейбеле!» Мне совсем не так уж нравилось имя Лейбеле, и я знал, что не только горецкого пастуха зовут Львом... Но возражать было невозможно. Отец был далеко, а дядя меня любил и не делал различия между мною и своими детьми. А их знакомство со шпандырем мне было хорошо и известно. И кончились мои мечты об организации из горецких мальчишек воинственного и непобедимого отряда охотников за скальпами. Началось для меня мрачное время.

Меня отдали учиться в хедер. Хедер — это еврейская религиозная школа, в которой дети учатся читать и писать. Но обучают там только мертвому, древнееврейскому языку — языку молитв. И ученье состоит из зубрежки — единственной системы, годной для запоминания незнакомых и ненужных слов.

Превращение лошен-кейдеша — этого строгого и сурового языка, созданного только, чтобы разговаривать с Богом, — в иврит, абсолютно живой язык, на котором можно не только разговаривать, о чем хочешь, но на который можно и переводить Лескова, Набокова и даже Эдич-

ку Лимонова, — для меня остается непостижимой тайной.

В первые дни моей жизни в Иерусалиме я никак не мог привыкнуть к тому, что игривые подписи под более чем откровенными афишами американских фильмов написаны буквами того самого строгого алфавита, который у меня был связан только с Торой, только с молитвенниками. Впрочем, я забыл, что этими же буквами написаны веселые книги Шолом-Алейхема и те безымянные малопрстойные книжечки, которые добирались до молодого поколения Горок.

Да, теперь я знаю, что ивриту доступно все — и суровая эпика, и лирическая поэзия, и та лихая бесшабашность, которая именуется «новой прозой» или «постмодернистской» или еще как. Хотя, видит Бог, такая «новизна» в прошлом появлялась не однажды.

Хедер, в котором я обучался, имел совершенно классический характер, он был точно таким, каким описан у Шолом-Алейхема. Учитель — реб Нахман — тощий еврей, с жидкой козлиной бородкой, неопределенного возраста, озлобленный на себя, свою жену, детей, козу, на своих учеников. К служебным обязанностям он относился чрезвычайно добросовестно — на наше горе.

Рано утром меня будит тетя Хая — я живу у нее. Я наскоро умываюсь, пью чай, тетя Хая сует мне в руку завернутый в платок горшок с еще теплыми вареными бобами — мой завтрак в хедере. И я отправляюсь в путь. Темно, холодно и очень грустно. Я вспоминаю далекий Касимов, братьев, школу, Оку, наши игры — иду и тихонько всхлипываю от жалости к себе. В хедере мрачно и неуютно. Жена меламеда<sup>1</sup> кричит на нас и заставляет перед началом занятий загонять ее козу, ловить кур, подметать двор. Исполнив все это, мы, ученики, собираемся в небольшой темной комнате. Нас всего десять-двенадцать мальчиков, мы сидим на скамейках, за длинным столом, перед каждым из нас молитвенник. Меламед ходит взад и вперед по комнате, закрыв глаза, заложив за спину руки с длинной и тяжелой линейкой. Метод обучения довольно прост: один из нас читает нараспев очередную страницу молитвенника, а все остальные должны следить по книге, лежащей перед ним. И повторять про себя слова молитвы.

Все в напряжении: в любую минуту учитель вдруг крикнет читающему мальчику: «Стой!» — ткнет линейкой в другого и при-

---

<sup>1</sup> Меламед — учитель в хедере.



кажет ему: «Продолжай!». Продолжать нужно сразу же с этого слова, полуслова. Малейшая задержка, и тяжелая пощечина обрушивается на нерадивого ученика. А следить несколько часов за чтением непонятных слов тяжело и утомительно. Забывая о ежеминутно грозящей опасности, мы украдкой на скамейке играем в перышки: один глаз — в книгу, другой — на скамейку, где сосед ногтем ударяет по перу: чье дальше подскочит, тот выигрывает. Били нас в хедере часто и много. Пощечины не считались наказанием — они были обычным сопровождением того, что у педагогов называется «учебным процессом». А вот за настоящую провинность — подстриженную бороду у козы, клей, разлитый на табуретке учителя, — реб Нахман бил всерьез и со знанием дела. Он привязывал провинившегося веревками к столу, доставал пучок кожаных тонких ремешков и бил нашего товарища до тех пор, пока тот не начинал синеть от крика. Я был совершенно подавлен страхом и отвращением ко всему, что видел. С дядей Израилем бесполезно было об этом говорить, тетя Хая не вмешивалась в дело моего перевоспитания, я чувствовал себя бесконечно одиноким и заброшенным. Только письма из Касимова были моей отрадой, в них заключались не только воспоминания, но и надежда на будущее. Соля и Илюша писали мне часто, они посылали вырезки из «Нивы», красивые почтовые марки; их письма о школе, о наших друзьях мое воображение разрисовывало обильными и яркими подробностями, заставлявшими меня плакать от страстного и бессильного желания быть с братьями в веселом и дружном мире, где не дерутся, не мучают людей ради отвратительных и ненужных слов. Так в очень давнее время моего детства я начал испытывать то чувство, которому впоследствии суждено было стать длительным и постоянным.

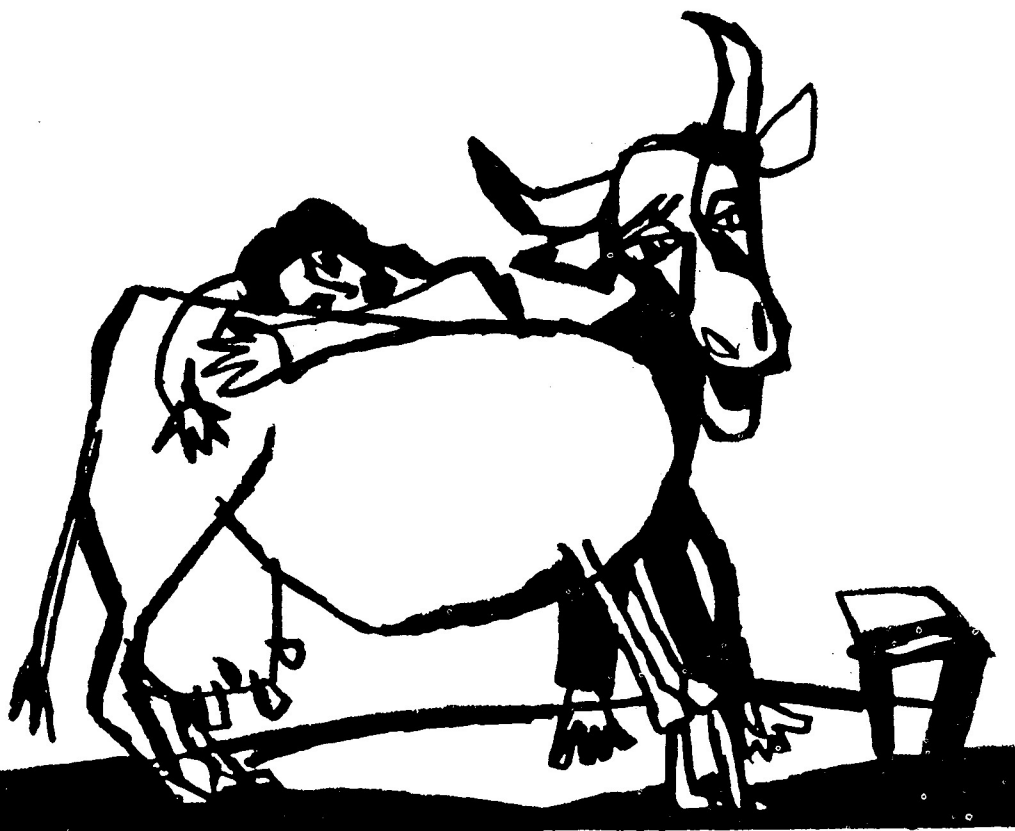
Было в этот период моей жизни только одно светлое пятно. Оно разрасталось и разрасталось, пока не превратилось в такое большое, светлое, всеобъемлющее, что заставило меня забыть все плохое, выводило меня — и тогда и после — из самых темных и мерзких нор жизни. В Народном доме — бывшем Дворянском собрании — открылась библиотека, с двух до четырех часов дня там выдавали книги для детей. Мне, считавшему себя искушенным и образованным читателем, перечитавшим десятки толстых томов увлекательнейших книг, было немного стыдно идти в детскую библиотеку, стоять в очереди с детьми, не имевшими даже понятия о том, кто такой Брет Гарт или Луи Жаколио. Но выбора у меня не было. Страсть к книгам заставила забыть стыд и гордость. И я пошел в библиотеку, долго стоял в очереди с другими мальчиками и девочками, назвал какой-то девице свою фамилию и адрес и услышал быстрое и пренебрежительное: «Вот

тебе книга, мальчик!». Я даже не успел проявить свою эрудицию, спросить, есть ли у них «Всадник без головы» или «В трущобах Индии», библиотекаря даже и не подумала заинтересоваться таким образованным читателем, как я... Мне просто сунули в руку книгу, и я растерянно отошел от стойки, разглядывая то, что мне досталось. Это была маленького формата книжечка в желтой обложке, на которой было написано: «Овод». Про насекомых? Я раскрыл ее и прочел первую страницу о мальчике, который разговаривал со своим учителем-священником. И так я продолжал читать, стоя в углу у большой круглой печки. Уже разошлись дети и стали появляться взрослые читатели, и стемнело, а я все стоял и — не замечая ничего вокруг — читал. Вот Артур уже лишился всего: родных, друзей, веры. Качаясь, как пьяный, он идет в порт, чтобы умереть или растаять — исчезнуть для мира, оказавшегося таким лживым и жестоким. Я всхлипнул и увидел, что на меня смотрят с любопытством и усмешками. Тогда я сорвался с места, убежал домой и там, у маленькой керосиновой лампочки, читал и плакал навзрыд, во весь голос — благо тетя Хая ушла и никто не мешал проявлению моей огромной жалости к себе, потому что это я был Артуром, это меня изгнали близкие и это я гибну за революцию в маленьком дворике Бризителльской крепости. Удивительна эта книга, написанная сентиментальной англичанкой. И это — великая книга. Более великая, чем многие другие, внимательно разобранные, изученные, рекомендованные педагогами. Нельзя не считать великой книгу, которую обливало слезами много поколений читателей.

И вот с тех пор, как я прочел первую книжку в этой библиотеке, я забыл свою гордость, я перестал просить Эмара и Буссенара, я брал то, что мне давали, и среди Желиховских и Чарских мне попадались книги, после которых читать про индейцев было так же странно, как мне после школы, где мы читали Гоголя, — попасть в хедер и зубрить слова на непонятном языке. Я ходил в библиотеку ежедневно, ради той минуты, когда она откроется, я жил каждый день, мучился в хедере, терпел колотушки и пощечины меламеда.

Так я провел зиму. В начале лета 1919 года из Касимова приехали отец, мать и братья. На следующий же день по приезде отец пошел в хедер, поговорил по-солдатски с оторопевшим и оробевшим реб Нахманом и забрал меня оттуда. На этом и закончилась попытка снова превратить меня в еврейского мальчика Лейбеле. Тогда я был рад этому необыкновенно. Но как я жалел впоследствии, что так и не научился ни читать, ни писать по-еврейски. Я лишил себя — на всю жизнь — возможности переписываться с мамой.

21969 14



## КОРОВА

**П**ишу о родных, о близких, о друзьях и разных людях, так много значивших для меня. Пишу о жизни нашего города, нашей семьи, о природе и моих отношениях с ней... Почему же я пишу о корове? О нашей тихой немолодой Бирке, чью задумчивую безрогую морду помню до сих пор. Конечно, не только потому, что в самые тяжкие девятнадцатый — двадцать первый годы мы, благодаря ей, не голодали и маме удавалось прокормить семью, где было четверо мальчишек, которые всегда хотели есть. Это не так уж и мало, про это не стоит забывать и через много десятков лет.

Но я теперь понимаю, что именно Бирке обязан своими знакомствами и дружбой с множеством горецких мальчишек. Она помогла мне лучше увидеть луга, леса, овраги вокруг города. Если бы не моя корова, я так бы и не увидел, как выглядит на самой заре, когда выпадает похожая на дождь роса, большое цветущее льняное поле... И что такое сенокос со всеми его прелестями, на удивление точно описанными в самых великих книгах русской литературы...

И потом — Бирка была вроде членом нашей семьи. Мы беспокоились о ее здоровье, обсуждали всякие приключения, случившиеся с ней, мы постоянно думали, как и чем ее кормить, с ней был связан распорядок очень наполненной жизни трех подростков. Но чем оправдываться, почему я столько пишу о корове, я лучше просто расскажу о ней.

В начале лета девятнадцатого года отец привез из Касимова всю нашу семью: маму с маленьким братом и двух моих старших братьев, которых с нетерпением ждало все мое горецкое мальчишеское окружение — уж очень я хвастался перед ними своими обрусевшими братьями из Рязанской губернии. На Дворянской улице мы поселились в двух комнатах большого богатого дома: с

коровником, сеновалом, кладовыми, погребами. Дом принадлежал бывшему стражнику — могучему, доброму и деловому человеку. С завистью он смотрел на квартиранта, у которого было четыре сына. У него самого был только один, и он радовался, что теперь появились у его сына товарищи, хотя бы и евреи. Впрочем, как и почти большинство русских жителей Горок, бывший стражник никакого антисемитского «прононса» не имел. Как не замечал я его и у других русских — детей и взрослых. В Горках даже была дружба конфессий, многочисленные церкви и синагоги мирно стояли неподалеку друг от друга. Но об этом потом где-нибудь. Если придется.

Жили мы плохо. То есть голодно. Из Касимова мы привезли все, что должна иметь еврейская семья: перины, подушки, праздничные скатерти и посуду... До сих пор не могу ни вспомнить, ни понять, как все это удалось отцу в целостности перетащить через огромный кусок России во время разгорающейся гражданской войны. Да еще имея на руках большую семью. Но невозможно было привезти с Рязанщины ни рассыпчатую картошку, ни вкусный ржаной хлеб, ни стерлядей, которых мы — три мальчика — запросто и не для развлечения, а пропитания ради ежедневно ловили в Оке. В Горках ничего этого не было.

Не было уже и той фабрики Падзерского, где до войны работал отец. И не было вообще никакой промышленности, даже «Завода искусственных минеральных вод» — как гордо было написано на вывеске дома, где одна пожилая пара изготовляла «сельтерскую воду». Отец стал тем, кто в анкетах именуется «разнорабочим». В сезонное время таскал мешки на мельнице (о, это была хорошая работа!), ставил столбы для телеграфа и электричества, копал ямы для фундамента строящихся новых домов. Он не отказывался ни от какой работы, для него никогда — до самого конца жизни — не было работы грязной, трудной, унизительной. Я часто встречал у людей его поколения и воспитания невероятно сильно развитое чувство долга перед своей семьей, которую он обязывал кормить. И не перестаю восхищаться им. Еще отец прирабатывал музыкой, играя на свадьбах. Конечно, в родном городе, где у него была репутация хорошего музыканта, его снова взяли в тот же самый «пожарный оркестр». Ибо могли меняться социально-экономические формации, государственный строй, власти, но все равно такому городу, как Горки, необходим был духовой оркестр с очень высоким социальным статусом и большой культурологической ролью. Играть в «пожарном оркестре» почитали за честь, рабо-

тали за славу, а не за деньги. Но зато, пусть и в мизерных размерах, музыкантам платили на свадьбах, похоронах, на танцульках, именуемых «балами», перед любительскими спектаклями в Народном доме.

На эти деньги можно было на скудном в те годы базаре прикупить что-то к пайковому хлебу — сырому, неизвестно из чего выпеченному, с овсяными охвостьями, от которых саднило небо и горло. Наша семья, даже по неофициальной горецкой социальной статистике, считалась бедной. Ибо не было у нас самой главной приметы элементарного достатка — коровы. А коровы были почти в каждом доме, коровы или козы — без них невозможно жить семье, где есть дети. Тогда в каждом горецком доме — еврейском или русском — были дети. Иногда и даже часто — много детей.

Мама долго крепилась, прежде чем решила расстаться с самой ценной вещью, что была в семье, — с ручной швейной машинкой «Зингер». Эта машинка, вероятно, была частью ее приданого, ее возили в Касимов, с ее помощью мама ставила заплатки на быстро рвущуюся детскую одежду, на ней же иногда шила нам обнову — на этой машинке можно было делать все. Наличие этой техники и умение ею пользоваться подымало маму в глазах наших соседей и знакомых. Но видеть ежедневно голодных детей было невозможно, и мама сделала выбор. Машинку продали. Очевидно, «Зингер» в то время ценился высоко, потому что этих денег хватило на покупку коровы.

Покупка коровы, без всякого преувеличения, большое, важное и серьезное событие. Поиски, предложения, экспертизы, советы опытных людей, сомнения... Тут оставаться равнодушными нельзя было. И в моей памяти до сих пор живо волнение этих дней, когда решался вопрос о нашей корове.

И вот отец, в сопровождении экспертов и просто соседей-болельщиков, приводит во двор нашего дома Бирку. Так зовут нашу собственную корову. Она солидная, комолая, то есть безрогая, большие светлые пятна покрывают ее коричневую шкуру, у нее добродушная морда, что утешает меня — в долгих домашних разговорах именно мне, как младшему, отведена одна из главнейших ролей в общении с коровой. Корову — как невесту после свадьбы — торжественно отводят в хлев, выделенный специально для нашей коровы хозяином дома. В течение нескольких дней мама мыла и скребла этот крепко сколоченный коровий дом, укладывала на пол солому, ставила в

углы что-то, что должно было, по уверениям знающих людей, отвести от нашей коровы болезни и наговоры злых людей. Корову приводят недоенной, чтобы первую дойку произвела новая хозяйка.

Мама это делает впервые в жизни и очень волнуется. Она приносит приготовленную скамеечку, ведро, кувшин с теплой водой и полотенце. Под присмотром опытных соседок, непрерывно дающих советы, она заканчивает нехитрые приготовления, и первая молочная струя звонко ударяется в новенькое цинковое ведро. А потом мы все толпимся на кухне и смотрим, как мама процеживает сквозь марлю пенистое молоко, разливает его по кружкам, отрезает нам по куску хлеба, и мы пьем это теплое и сладкое молоко с таким радостным удивлением, как будто никогда в нашей, пусть и короткой еще, жизни не пили молока. Такого — своего — не пили.

В жизни и быте нашей семьи Бирка занимала очень важное место. Главное — ее надо было прокормить. Да, она нас кормила, но и ее надо было кормить. И кормить хорошо, ибо сама она была нашей кормилицей. Корову следует, прежде всего, кормить тем, что в газетах по-идиотски называется «зеленой массой», а попросту говоря — травой. На добычу травы мы — я с двумя братьями — выходили из дома рано утром, вооруженные ножами, с заготовленными мешками. Траву нам полагалось срезать на окраине города, на обочинах дороги, на опушках рощи, в оврагах. Конечно, это и было нашей главной производственной базой. Но, каюсь — бывало мы и совершали уголовное деянье, забираясь на клеверное поле, запихивая в мешки чудный розовый клевер, смешанный с фиолетовым «мышинным горошком» — викой. Слава Богу, ни разу не попались и с гордостью притаскивали тяжелые мешки нашей кормилице.

У мамы была другая важная забота — она готовила пойло. Глупое, почти бранное название пищи, о которой мы и мечтать не могли в нашей лагерной жизни. Компоненты для пойла собирались где только возможно: корки хлеба, недоеденная каша, очистки картофеля, брюква и свекольная ботва... Все это загружалось в огромный, пудовый чугунный горшок и ставилось надолго в русскую печь, где варилось, парилось, превращаясь в нечто очень аппетитно пахнущее. Потом это выливали в чисто вымытую деревянную бадейку, сверху посыпали отрубями, и мы вдвоем несли этот коровий деликатес в хлев.

Но все же летом главная пища нашей Бирки была на пастбище. Коров в городе гоняли на пастбище два раза в день. Для

меня самым главным было первое — поранки. Мать безжалостно прерывала мой сладкий утренний сон в четыре или пять часов. Не сразу я привык просыпаться в прохладную летнюю рань, оплескивать сонное лицо, наспех выпивать стакан молока с куском хлеба, потом, захватив приготовленный узелок с завтраком, бежать во двор и выводить корову на улицу. Улица еще по-ночному тихая, на деревянных тротуарах ни одного человека. Но примятая обильной росой уличная пыль уже встревожена скотиной, выгоняемой почти из всех дворов на нашей улице. И за каждой бегут или бредут еще не очнувшиеся ото сна мальчишки.

С незапамятных времен каждый район города пасет коров на определенных местах. Оршанка и Дворянская гонят на поранки коров в места, называемые Бабий брод. От вьющейся между низкими плоскими берегами речки тянутся к лесу невыкашиваемые луга, отведенные для пастбища. На краю луга уже поля: овес, просо, гречиха. Опасная зона! Туда именно стремятся сигануть наши подопечные, что для нас связано со всевозможными неприятностями. Наши коровы не торопясь идут по знакомой им дороге, мы бредем за ними, досыпая на ходу. Потом сон проходит, мы уже начинаем переговариваться, вспоминая вчерашние споры, ссоры, развлечения, происшествия... Очень скоро кончается город, мы гоним своих питомцев мимо длинного, поросшего акациями рва — это остатки укреплений, возведенных русской армией еще при Петре во время войны со шведами.

Впрочем, история нас мало интересует. Мы пригоняем стадо на луг, коровы разбредаются, а мы устраиваемся каждый по своему вкусу. Кто пробует, примостившись на старой колоде, доспать; кто с приятелем играет в ножики; а кто, вроде меня, и книжку захватил. Но каждый из нас не забывает поглядывать за своей коровой. С меня уже давно скатился сон, я с увлечением читаю книгу Рубакина про что-то географическое, отрываясь только для того, чтобы посмотреть, не убежала ли Бирка. И жду главного события поранок — завтрака.

Время завтрака наступает, когда солнце показывается над колючей вершиной елового леса. Вот тогда мы, как по команде, бросаем свои индивидуальные занятия, сгоняем коров в общее стадо и собираемся в кружок. На принесенной кем-то тряпице мы раскладываем свои завтраки: кто что принес. Главным образом это дары наших подопечных, которых мы пасем: творог,



домашний сыр, кусочек масла, редкий кусочек мяса. Еда вполне интернациональная, потому что на поранках объединяются и русские, и еврейские мальчишки. Ребята из самых ортодоксальных семейств лопают мясо, не задумываясь, кошерное оно или трефное. Кроме... Кроме сала. Вот тут у всех еврейских детей срабатывало что-то вечное, национальное. Они смотрели на эти розоватые, преступно соблазнительные ломтики с любопытным отвращением. Все, кроме меня. Потому что за четыре года жизни в Касимове я научился не только есть свинину, но и получать от этого немалое удовольствие.

Но когда я впервые, под ужасающе-восхищенные взгляды моих соплеменников, взял кусок сала, это вызвало бурные протесты русской части нашей компании.

— Ты что?! — закричали они. — Тебе не положено!

— Ах, не положено! — ответил я, пожирая вкусное солончатое сало. — А субботний чонт<sup>1</sup> — вам положено?!

Собственно, это было на моей мальчишеской памяти почти единственное национальное столкновение между нами. Никто из нас тогда и не подозревал о будущем...

После завтрака мы довольно быстро собираем подопечных и отправляемся с ними по домам. Коровам предстоит утренняя дойка, а нам заслуженный, уже домашний, завтрак — может, и более обильный, нежели полевой, коллективный, но не такой интересный. Не успел я позавтракать и поделиться происшедшим на поранках, как уже слышится рожок пастуха. Я вскакиваю и выгоняю за ворота Бирку в общее стадо.

С коровой у меня связаны впечатления о сенокосе. Наш хозяин был очень зажиточным человеком. У него были две лошади, корова с телкой, несколько свиней, множество кур. И большой надел сразу же за городом. Он сеял рожь, овес и гречиху: был у него в пойме реки небольшой, но хороший огород; и был покос, такой большой, что он даже продавал часть сена. На время сенокоса он обычно нанимал одного-двух батраков. Но после нашего возвращения в Горки я и мои братья, три вполне здоровых подростка, составляли вместе с его сыном на сенокосной страде костяк его рабочей команды. Сенокос для нас был значительнейшим событием лета. Долгая подготовка:

---

<sup>1</sup> Чонт — приготовленная для субботы еда.

отбиваются косы, чинятся грабли, чистятся казаны для приготовления пищи...

...И затем несколько дней, почти неделя жизни в шалаше, столь прочно сделанном из веток, что и дождь его не прошибал. И необыкновенные запахи свежескошенной травы, свежего сена... Мы шевелим подсыхающее сено, подгребаем его к копнам, мы проходим все сладостные циклы сенокоса, чтобы потом, водрузившись на огромном возу сена, возвратиться домой с радостью и гордостью: ведь часть этого, нашего сена принадлежит Бирке.

21969 15



## МИЗИНИК

**М**оей сельскохозяйственной деятельностью, когда я молчаливо был признан в семье не только равноправным, но и даже более ответственным за столь важное дело, как уход за коровой, собственно, закончилось мое положение младшего, младшенького — как говорят у евреев — мизиника.

И в мои воспоминания и размышления о том, что значит быть мизиником, вплетается история о жизни и судьбе моего младшего брата, который принял у меня эту эстафету.

Да, тогда мне казалось, что положение младшего в семье — источник всех моих детских бед и унижений. Это меня заставляли есть самое невкусное — овсяную кашу; это меня мои старшие братья не подпускали к самым любимым играм и развлечениям; это мне доставалась самая черная работа: выгонять корову, резать для нее траву на обочинах дороги, чистить хлев.

Неблагодарное создание! Я обижался, когда в гостях у родных и знакомых меня ласково (а мне казалось — пренебрежительно) называли «мизиник» — младшенький. В действительности это положение в семье давало мне немалые преимущества, ставило в привилегированное положение. Мне — дома и в гостях — доставались самые лакомые куски, самые соблазнительные сладости. Это я во время пасхальной трапезы задавал отцу четыре ритуальных вопроса. И я был единственный, кого дед в какой-то особый праздник благословлял жертвоприношением. Мы являлись к нему всей семьей, разодетые и притихшие. Дед почти такой же нарядный и торжественный, как тогда, когда исполняет обязанности маршелика. Мама молчит, отец разговаривает с дедом непривычно тихо и почтительно. Потом к деду подводят Солю, Илюшу, и каждому он говорит что-то торжественное и непонятное, кладет руку на голову и благословляет. А меня не просто благословляет. Рядом с ним лежит со связанными ногами обреченный на смерть красавец петух. Дед берет его за лапы, подымает и крутит бедного вокруг моей головы, произнося нечто в высшей степени молитвенное. А потом жертвенного петуха относят к

резнику: через час-полтора мы его будем есть за праздничным столом. И мне поднесут самый вкусный кусок — пупок.

Хорошо быть мизиником! А хорошо ли быть мизиником? Ведь как-то особенно — я это уже у многих заметил — складывается судьба у младшеньких. Я-то в девять лет перестал им быть и утратил все привилегии, потому что в 1917 году родился наш самый младший брат, названный в честь умершего деда Абрамом. И мизиником стал он. Его судьба, его незадачливая жизнь мучила меня много лет и продолжает мучить сейчас, когда уже почти два года лежат его останки на кладбище напротив Старого города в Иерусалиме.

Если правда, что в последнем ребенке, в «поскребыше», соединяется все лучшее, что могут дать родительские гены, то таким ребенком и был мой младший брат Абрам. И в детстве, и позже — всегда в нем было все, что обычно пленяет людей: милое, доброе лицо, нетривиальный ум, мгновенная реакция, юмор и самоирония, активное творческое начало — незаурядные литературные способности. Такие люди рождаются для того, чтобы их все любили. И Абрашу всегда любили. Гордились, когда он начал с детства говорить стихами, умилялись его реакции на услышанное, увиденное, прочитанное. Он везде и всегда был мизиником — в семье, в гостях, в школе, в пионерском отряде. Не всегда самым младшим, но всегда самым обаятельным и любимым.

И, конечно, он учился плохо, ему было лень учить обязательное, он любил делать то, что было необязательно, но приятно. Но что удивительно для школьника его лет: он предпочитал Луи Буссенару и Майн-Риду Гоголя, Гюго, Козьму Пруткова... К дням рождения друзей и родственников сочинял длинные одические стихи. Но по классу ходили и его ядовитые и уже, увы, малопристойные стишки про нелюбимых учителей — почти всегда учителей математики, физики, химии... Этот неположительный мальчик терпеть не мог положительных наук.

Он кончал семестр с переэкзаменовками, о неизбежности которых забывал, в результате чего оказывался второгодником, и становилось очевидным, что его образование, столь высоко ценимое в нашем еврейском социуме, летит ко всем чертям. Нас тревожило также его окружение — не сверстники, а старшие ребята. Я однаж-

ды застал его лихо и привычно закуривавшим «Посольскую»: таких дорогих папирос даже я не пробовал. Словом, нашего мизиника надо было спасать. У нас дома отнеслись к такому положению дел трагически, мы тогда еще не знали, что спасение младшего почти всегда входит в программу жизни каждой еврейской семьи.

Спасать, конечно, должен был самый авторитетный член разгоновского клана — Израиль. Он из Севастополя уже переехал в Ленинград, был заместителем командующего Балтийским флотом. Когда в очередной приезд в Москву, он, как обычно, обедал у нас, ему поведали о положении с младшим и о необходимости его спасать. Ублаженный вкусным еврейским обедом и русской водкой, Израиль сказал:

— Пусть приезжает ко мне. Определим его в Морской корпус, там он быстро забудет и дорогие папиросы и стишки на учителей.

Ах, какая это была приманка для Абраши! Морской корпус, герои Станюковича, «Бим-бом-брас-стенга!», «Все по вантам!», «Свистать наверх!»... Грозные пушки, суровое море...

Выудив у ошастливленной школьной администрации какую-то липовую бумажку, мой младший брат уехал к своему высокопоставленному родственнику, и тот, со свойственными ему быстротой и решительностью, определил его в училище имени Фрунзе — некогда знаменитый Морской корпус. Письма брата были полны мужественного восторга и морской терминологии времен парусного флота. Даже обыкновенная резинка для трусов, которую он просил прислать, называлась «шкентик».

И мы больше не беспокоились за будущее нашего мизиника. Израиль продолжал делать большую военную карьеру, из Ленинграда, став членом коллегии Наркомата Военно-Морского флота, он переехал в Москву, поручив молодого курсанта заботам своего друга — командующего Балтийским флотом, и был уверен в расцвете морской ветви Разгонов.

В январе 1937 года я поехал в командировку в Ленинград. И в перерыве между деловыми и веселыми разговорами с Маршаком, Бианки, Олейниковым, Харсом, потрясшим меня нерусским обликом, выбрал время и поехал в Петергоф, где тогда находился курс Абрама. Брат был уже стопроцентным старым морским

волком. Он курил дешевые папиросы, как-то по особому, по-морскому, сплевывал в сторону, говорил басом, объяснялся только на флотском языке и, с явным презрением к малограмотному журналисту, объяснял мне разницу между ютом и полуютом. Я уверовал, что брат мой спасен. Несмотря на то, что теперь он звался не сухопутно-еврейским именем Абрам, а традиционно морским — Аркадий.

Но (сейчас модно цитировать Булгакова) «Аннушка уже пролила масло...». Ибо наступивший новый год был 1937-й. И его страшная колесница уже двинулась в путь, оставляя за собой кровавые следы и хруст костей. Летом был арестован Израиль, а также и его друг — командующий Балтийским флотом. Абрам, чьи связи с лютыми врагами народа были очевидны, из «кузницы адмиралов» был немедленно изгнан, как политически неустойчивый и ненадежный.

В Москву мой непутевый брат приехал совершенно неуравновешенным. Он был потрясен крушением своих идолов, идеалов, планов, трагически воспринял разрыв с друзьями из училища, которые полюбили его, как любили его почти все. Конечно, спасительно-легкомысленный характер брал свое. Он сел писать пьесу из суровой морской жизни, сочинял романтические стихи, исполненные морской тоски, и без большого энтузиазма думал о необходимости учиться на какую-нибудь штатскую специальность. Компания у него была уже не только старая, школьная. Аркашка ходил в клешневых штанах не с ширинкой, а с клапаном; рассказывал страшные морские истории и сыпал анекдотами. Но шел 1937 год, был арестован еще один наш двоюродный брат Мерик — гроза московских бандитов, заместитель начальника МУРа. Мы с Солей и Илюшкой чувствовали, что пожар все ближе подбираться к нашему дому.

А мой собственный дом уже был разгромлен, арестованы родители Оксаны. Нас выселили из привилегированного казенного дома в многолюдную коммуналку, где мы жили натужно-весело и где почти каждый вечер появлялся Аркашка, снова обретший облик веселого остроумца и всеобщего любимца. Но вот однажды мне позволил Соля и глухим голосом сказал:

— Выйди к Никитским воротам...

Мы встретились, и я услышал: «Аркашку взяли...». В тот год так и только так на уголовном жаргоне назывался арест.

Ну, а потом, как водится, я бегал с мамой в «Справочную» на Кузнецкий, 24; ходил с передачей в тюрьму, в Таганку. Проходил Аркашка провинциально, по области, и с ним особенно не возились. Тем более, что нужны были, очень нужны были «посадочные места»... Московская «тройка» быстро сунула Аркашке восемь лет лагерей по статье «КРА», и он — удачно, еще до холодов — загремел на безразмерный Восток. Довольно быстро мы получили от него весточку из Нижнеамурлага. Мы со старшим братом снаряжали младшему первую посылку. В Москве было с кем советоваться, что посылать ново-явленному арестанту. Первым делом мы пошли на Таганку в единственный, кажется, магазин рабочей одежды. У неказистого магазинчика, переживавшего неслыханный расцвет, стояла длинная очередь — почти такая же, как во дворе дома на Кузнецком мосту. Но — более веселая, даже счастливая. Ведь не расстреляли, живы, даже адрес известен. Всего только лагерь, а там природа, свежий воздух, люди, можно переписываться...

Мы купили брату дивный комплект: телогрейку и ватные штаны. Бушлат, как писал он, ему не нужен, ему выдали. Ах, какая это была «рабочая одежда»! Блестящий молескин, мелкая строчка, боковые карманы... Мне потом тоже прислали такую же, и судьба ее постигла та же: и у Аркашки, и у меня ее мгновенно отобрали паханы из урок, великодушно дав «сменку» — старую, засаленную телогрейку.

Потом я стал писать длинные прошения от мамы во все места, где, по ее мнению, могли помочь мальчику, которому только что исполнилось двадцать лет. Времени у меня было достаточно, из Детгиза меня выгнали, никуда на работу не брали, и я (ах, болван!) писал в самые разные инстанции. Позже, когда я уже валил лес на Первом лагпункте Устьвымлага, мама, задыхаясь от радости, сообщила мне, что подействовали ее слезы, облеченные мною в блестящую литературную форму: Абраше сбросили пять лет, оставили только три. Теперь-то я знаю, что ни слезы, ни литературные изыски не возымели никакого действия, просто произошла смена палачей, и первые шаги Берии начались, как это бывало всегда, с послаблений.



Кого-то совсем освободили, кому-то снизили срок, дабы все убедились, какой нехороший был Ежов, нехороший, не то, что новый, интеллигентный, в пенсне, Лаврентий Павлович. Именно в эту струю и попал осужденный за старый анекдот мой младший брат. Шел 1940-й год. В лагере Аркаша освоился, успел стать «придурком» и что-то делал в конторе рядом с угрюмым, неразговорчивым Заболоцким. Аркадию очень не хотелось возвращаться в Москву нищим, оборванцем, а не так, как поется в старой лагерной песне-мечте: «И на поезде в мягком вагоне...». И он завербовался на вольные хлеба до конца 1942 года.

Но Аннушка уже во второй раз пролила масло... Аркадий загредел на войну, с первых дней. Долго я ничего о нем не знал. В первые полгода переписка была запрещена, а когда она возобновилась, то никого из родных в Москве не было: кто на войне, а кто в эвакуации. Через год я получил от отца из маленького татарского городка Билярска коротенькое письмо о том, что Абрам и Илья на фронте и ничего о них неизвестно, старший брат со своей Академией в Свердловске, а мама с моей Наташей тоже в Билярске. Это было последнее письмо от отца — через месяц он умер.

Годы войны — годы ожидания писем, годы надежд, слухов, неожиданных известий, то трагических, то радостных. Об Аркашке я получал редкие недостоверные сведения, иногда доносившиеся до моего старшего брата. По этим сведениям, Аркашка то подбивал танк, то получал орден, то его тяжело ранили, то он геройски погиб. Было правильно все, кроме последнего. Аркадий воевал тяжело — был пэтээрником, таскал тяжелое противотанковое ружье и «ни шагу назад!»... Шаги он делал и поэтому остался жив. Два раза был ранен, два месяца отлеживался в тыловом госпитале, а после последнего ранения фронтовая судьба стала к нему почти благосклонна. Как еще непригодный для борьбы с танками, он делал что-то более легкое и — почти рефлекторно — стал писать в свою дивизионную и даже армейскую газету. А писать он умел, писал не хуже асов и классиков фронтовой журналистики. И постепенно стал признанным военным журналистом. Получил офицерское звание, из дивизионки перешел в армейскую газету, войну закончил лихо — на тех территориях, где начинались разграничительные линии с союзными войсками. И со смехом

рассказывал после, что на последнем доме последнего занятого нами немецкого городка какой-то неугомонный воин написал мелом:

— Ребята! Здесь грабить больше нечего. Надо воевать дальше!

На молодого способного журналиста, да еще с хорошей военной биографией и кучей орденов, положил глаз какой-то чин из политотдела, и Аркадия послали служить в Вену в оккупационные войска. Он довольно бегло знал немецкий язык и работал в газете, издававшейся нашим командованием для австрийцев. «Оттужевался за лагерь и войну», — сказал он мне впоследствии о своей почти пятилетней жизни в веселой Вене. Я встретился с ним почти через десять лет, в 1948 году, в Ставрополе. Он приехал в отпуск в Москву и, забрав с собой брата Илью и неподъемный чемодан с водкой, приехал в Ставрополь, где мы с Рикой неумело и трудно осваивали непривычную вольную жизнь.

Как он был непохож на того давнего мальчишку с ломающимся голосом и подчеркнутыми повадками старого боцмана! Теперешний Аркадий был зрелым, уверенным и очень элегантным, не по-русски выглядевшим человеком. Дорогой серый костюм, небрежно надетая шляпа, модные ручные часы... Когда я через полтора года уезжал в Сибирь повидаться с Рикой, уже навечно сосланной в глухой угол Красноярского края, вся эта заграничная роскошь перешла ко мне, и в августовскую ночь 1950 года в Ставропольский НКВД привели не бомжа, а очень respectable господина.

Но после первой бутылки водки, там в Ставрополе, я узнал своего прежнего мизиника — легкомысленного и обаятельного, остроумца и прекрасного рассказчика. Сюжетов у него хватало. Впоследствии, в тоскливую пенсионную пору в Москве, он написал несколько превосходных рассказов, которые не увидели света — и их унесла его неудачливая судьба.

Ибо неугомонная Аннушка снова пролила подсолнечное масло — видно, велик был у нее запас этой роковой жидкости...

Я уже получил новый срок, гремел по этапам Усоляга, когда у Аркадия произошло очередное жизненное крушение. Оно было неизбежно. Начиналась чистка, избавление от тех, кого невежественно, но угрожающе нарекли «космополитами». Я сейчас отчетливо представ-

ляю, как раздражал «прибывших на кормление», как говорилось некогда на Руси, новых московских генералов мой брат. Нагловатый, удачливый (пуля его, сволочь, не взяла!), всеобщий любимец, Аркашка для этой публики, чей антисемитизм был теперь узаконен, стал невыносим как заноза.

Ну трудно ли занозу выдернуть? Аркадий был обвинен в каких-то неблагоприятных поступках и мгновенно отправлен в Москву, в распоряжение Политуправления, а там уже хорошо понимали, куда его загнать после Вены. Его посылают литсотрудником дивизионной газеты в Термез. В этом прокаленном солнцем городе на краю света заканчивается военная карьера моего младшего брата. На него приходит из Вены телега о недисциплинированном поведении за рубежом нашей Родины и указание Москвы: разобраться, отреагировать. «Отреагировали»: Аркашку с треском выгнали из партии, отчислили из армии и выслали из приграничной территории. Он приехал в Москву без копейки в кармане, в старом кителе. Ордена и нашивки за ранение не производили никакого впечатления. Фронтовые коллеги — журналисты вроде Бубеннова — плевать хотели на веселого собутыльника. Когда в 1955 году я вернулся в Москву, он бедствовал, пробавляясь случайной, часто «негритянской» работой, спасаясь только героической любовью жены и привязанностью к маленькому сыну.

Конечно, все постепенно устраивается, как-то утрясается — и жизнь Аркадия не составляла исключения. Пройдя через многие мытарства, он устроился в спортивную газету, издаваемую на стадионе в Лужниках, стал ее фактическим редактором, превратил из серой, ведомственной в яркую, веселую. В нем постепенно воскресали прежние черты, забытые тюрьмами и неудачами. Вместе с Юзом Алешковским, Алешей Охрименко и другими он сочинял знаменитые, ставшие популярными песни вроде «Я был батальонный разведчик...», пародии на всемирно известные литературные темы, просто стихи и песни, далеко не всегда пристойные. И снова стал душой компании. Его окружали интересные люди, его любил Светлов. Приходя к Аркадию на застолья по поводам и без особых поводов, я с удивлением заставал у него Евстигнеева, Атлантова и многих других людей, весьма далеких от журналистской среды. А эта, журналистская, оказалась той, где мой младший брат чувство-

вал себя вольно, весело и необременительно. Его, малоимущего, с радостью угощали, он все чаще проводил вечера в баре Дома журналистов... И мои призывы к благоразумию никак на него не действовали. А когда они на него действовали?

Но было в нем нечто сильное и отвлекающее от той жизни, которую я (может быть, и неразумно) осуждал. Это — любовь к детям. К детям вообще и, естественно, к своим детям и внукам. Ему никогда не было скучно или утомительно возиться с детьми. И не просто возиться, а гулять, разговаривать, рассказывать, читать стихи, рассматривать и объяснять картинки, играть с ними в театр... В его двух таких непохожих друг на друга сыновьях я узнаю вкусы, литературные привязанности, каламбурное озорство моего брата. А внучки его, Катя и Рикуся, владели им безраздельно. За ними он и уехал «за горы, за моря», чтобы остаться навсегда на Святой земле.

Мой беглый и не всегда внятный рассказ о младшем брате спрессован во времени и не передает естественный, так сильно нас меняющий процесс старения. Да, мы старели, и старость надвигалась на Аркадия несправедливо быстро. Он по-прежнему был красив и элегантен, по-прежнему любил прикладываться к рюмке, сочинял «по случаю» веселые стихи, но все резче стали проступать приметы времени. Да ведь какого времени!

И постепенно, под натиском лет и болезней, исчезали его веселые, его пленительные пороки. Вот он и курить бросил, и к коньяку стал относиться спокойней, и, чтобы выпить пива в баре Дома журналистов, надо было его еще уговаривать, и нечасто он надевает свой «персональный» фартук, чтобы готовить пир с друзьями: кухню в таких случаях он не доверял никому, даже Зое...

И стал болеть мой брат, казавшийся мне всегда настолько младшим, что болеть ему не пристало. А он — болел, и разные гады — диабет, эндартериит и прочие — вцепились в него и уже не отпускали. Он относился к болезням, как и раньше, иронически и легкомысленно, и когда его подвергли лечению в барокамере, острил:

— Какой естественный путь — от бара и камеры до барокамеры...

Как и у Лекома, судьбу Аркадия решали дети. На этот раз — старший сын. Мне трудно объяснить, почему молодой человек, окончивший Московский университет

и начавший делать карьеру в газете, увлекся историей еврейства в России. Наверное, это было не только некоей отдушиной в буднях «Строительной газеты», но и духовной и душевной потребностью, естественной реакцией на удушающую атмосферу плохо маскирующегося государственного антисемитизма. История еврейства привела Сашу к иудаизму, и он прошел обычный путь религиозного диссидента-«отказника»: участие в криминальных самоизданиях, преследования... Как почти все «отказники», добился своего и с радостью стал собираться на обетованную Святую Землю.

Тогда, всего лишь пять-шесть лет назад, это было прощанием навсегда. Без надежды на встречу. И это было непереносимо, невозможно для брата — навсегда расстаться с сыном, с внучками. Год он терпел разлуку, а потом сделал то, что было для него неизбежным: двинулся с Зоей в путь следом за детьми. Наверное, в тайной надежде, что и младший сын последует за ним.

Я попрощался с ним, зная, что прощаюсь навсегда, — как будто ритуальный гвоздь в гроб забил...

Аркадий писал часто. О красоте Иерусалима, об успехах Кати и Рики, о том, как удивительно быстро овладели они языком, как скоро и весело вжились в новую жизнь. Они-то вжились, а он — не вжился. Он был стар и болен, чтобы — как в Москве — быть душой общества, да и не было этого общества, не было ни фронтовых друзей, ни коллег-журналистов. Чужая хлопотная и трудная жизнь отстраняла его от всего, что он любил, и от всех, кого он любил. Письма Аркадия все больше становились похожими на письма Лекома, в них все настойчивее звучала тоска по оставленному, по всей своей извилистой и трудной, но прожитой здесь жизни. А болезнь делала свое необратимое дело быстро, несмотря на знаменитую медицину, несмотря на любовь и заботу близких. Для смерти любая страна обетованна, не только Святая. 21 февраля 1991 года мой младший брат, наш мизиник, умер. Ему было семьдесят четыре года. Только. По-моему — только.

Немногим более чем через год, 17 марта 1992 года, я прилетел в Тель-Авив. Всего лишь два-три года грошло, а оказалось, что тогдашнее расставание могло бы и не быть прощанием навсегда: железного занавеса не стало, появилась возможность встретиться, обняться. Я упустил

время, я опоздал. Смог сделать только одно — приехать на его могилу ко дню его рождения, 18 марта.

В этот день мы — я, его вдова и сын — поехали на могилу Аркадия, ставшего здесь, на еврейской земле, снова Абрамом. «Поедем на такси, — сказал Саша, — потому что ехать придется через арабские кварталы».

Я не стал расспрашивать, почему, мне было не до того. С цветами небывалой красоты, какие я видел только в Израиле и нигде больше, мы ехали вдоль длинных гористых и очень оживленных улиц. Да, как будто другой город. Вывески и реклама на арабском языке, с минаретов через громкоговорители доносится протяжный голос муэдзина; обычный гомон лавок, лавчонок и уличной торговли здесь другой — более экспрессивный что ли...

Моего брата — вероятно, за тюрьму, за войну с фашистами, за раны — похоронили на привилегированном кладбище праведников на Масличной горе.

Покатая гора спускается вниз прямо к стенам Старого города. Еврейское кладбище. Ни траурных деревьев — кипарисов, туи, тополей, ни уютных кустов, ни ухоженных цветочных клумб. Суровое однообразие белых плоских надгробий. На незнакомом мне языке черные надписи о том, кто здесь лежит. И только на одном, возле самой стены, кроме надписи на иврите, есть еще и по-русски: «Абрам Разгон. 1917 — 1991».

Рядом со мной Саша что-то шепчет — наверное, молитву. Он оплакал отца здесь, в Израиле, отсидел шиве — неделю на полу, в разорванной рубашке, отчитал в течение месяца ежедневный каддиш — заупокойную молитву.

Я оплакал брата в далекой снежной Москве — оплакал «без церковного пения, без ладана, без всего, чем могила крепка». И теперь, стоя у этой слепой и глухой могилы, я все вспоминаю, вспоминаю моего мизиника, не по чину раньше меня ушедшего из жизни. Как хотелось всегда увидеться! Как совсем недавно, прощаясь, все же верили и не верили, что свидимся.

Вот и свиделись.

L

21969 16



## ВСТРЕЧА С ВЛАСТЬЮ

С середины лета в нашем семействе обычно начиналось обсуждение главной зимней проблемы — одежды. Ее приходилось шить только из тех тканей, какие попадали в наш кооператив «В единении — сила» в результате случайного распределения. Помню, что летом мать получила на всех нас веселенький зеленый ситец с цветочками — из него население города шило одежду всех видов и назначения вплоть до пальто. Соля категорически отказался носить штаны с цветочками, а я перестал колебаться, когда увидел на Лекоме широченные цветастые, ослепительные брюки из этого ситца, которые он носил так же спокойно и уверенно, как любую другую одежду. Самым трудным в эти годы был обувной вопрос. С первых же весенних дней, когда еще не весь снег сходил с мостовой, мы начинали ходить босиком. Ноги становились нечувствительными к жаре, холоду, осколкам стекла, острой стерне. И первый снег еще не означал для нас окончания летнего сезона.

Но с обувью у нас как раз обстояло благополучнее всего. Еще из Касимова отец привез четыре больших куска хромовой кожи. Свернутые в трубку, глянцевитые, вкусно пахнущие кожи были нашей гордостью. Иногда мы доставали их из шкафа, где они хранились, раскладывали на столе и начинали пальцем раскраивать на воображаемые сапоги и ботинки. Уже заранее было известно, что Соле сошьют сапоги, а мне и Илюшке придется удовлетвориться ботинками. Однако мечтам этим не суждено было сбыться. Не помню, кто донес, что у нас имеется четыре кожи, но их у нас отобрали.

Однажды, когда отец работал за городом в институтском хозяйстве, в нашу квартиру ввалились вооруженные люди из отряда местной ЧК. Они заявили оторопелой маме, что пришли искать оружие, и начали ворошить наше убогое имущество. Это был первый обыск, который я пережил. С тех пор мне пришлось много раз подвергаться обыскам, но я не приобрел к ним иммунитета, и нет, по-моему, ничего более гнусного и отвратительного, чем та операция, которая называется обыском. Нельзя привы-



кнуть к противоестественному и мерзкому копанию чужих людей в твоих вещах, бумагах. На это так же противно и стыдно глядеть, как на изнасилование, смертную казнь, издевательство над беззащитным. Разум и сердце человека неспособны смириться с тем, что кто-то присваивает себе право обыскивать других людей, раздевать их, рыться в их вещах, бумагах, пытаться заглянуть к ним в душу, а если это затруднительно — то хотя бы в анальное отверстие.

Прижавшись в угол, охваченный леденящим ознобом, с глазами, полными слез, я следил за тем, как эти чужие люди бесцеремонно вытряхивают наши вещи, сбрасывают мои книги, сталкивают со стола вырезанные из журнала «Светлячок» панорамы. Впрочем, обыск не отличался тщательностью и носил чисто декоративный характер. Не найдя оружия и достав из-за шкафа сверток с кожами, обыскивающие ушли. И мы остались без обуви. Это было тяжелым и непоправимым ударом для нашей семьи. Отец вернулся на другой день, и впервые я увидел на его глазах слезы. Тогда первый раз в жизни он совершил поступок, необычный для него. Схватив за руки Илюшку и меня (Соля отказался идти с нами), отец пошел к председателю исполкома. Я не помню содержания разговора отца с маленьким, плотным человеком, сидевшим за большим столом: у меня от стыда и унижения горели уши, и я испытывал нестерпимое желание убежать, спрятаться — только бы не видеть отца таким жалким, просящим, убитым. И когда после безрезультатного разговора мы шли домой, я не в состоянии был смотреть в глаза отцу, и он это чувствовал. Бедный мой отец, на что он только не шел ради нас, как трудно даже ради самых близких людей соглашаться на такое унижение, на такой непосредственный контакт с людской подлостью.

Я рассказываю об этом незначительном эпизоде не только потому, что это было мое первое — увы, не последнее — соприкосновение с властью, но и потому, что благодаря этому эпизоду я познакомился с самым интересным человеком в нашем роду.

У отца был старший брат. Он жил в Витебске, имел много детей, и жизнь этой семьи развивалась совершенно по другим путям, нежели жизнь людей в нашем городе. Сыновья моего дяди становились рабочими, революционерами, солдатами; они воевали, странствовали, сидели в тюрьмах — никто из них не умер своей смертью. Даже за океан они пускались не в поисках денег, даже там они ухитрялись быть бунтарями. Старший из этой семьи до революции эмигрировал в Америку, был одним из организаторов американской компартии, руководителем ее Чикагской

организации, много раз сидел в тюрьме. След его затерялся много лет назад.

А теперь я расскажу, как он нашелся.

Позвонила незнакомая женщина и спросила меня: не могут ли быть у меня в Америке родственники, носящие мою фамилию. Я охотно ответил: да, в Америке могут жить потомки моего двоюродного брата, эмигрировавшего из России в 1911 году. Милая женщина, оказавшаяся переводчицей и преподавательницей английского языка, рассказала занятную историю. Побывав в качестве переводчицы в Калифорнии, она познакомилась с несколькими людьми, носящими фамилию Разгон. Они ей рассказали, что отец их родом из России: незадолго до смерти он поведал своим детям, что в России у него оставались родственники, но, видимо, большинство или расстреляны большевиками, или погибли, когда немцы убивали всех евреев на оккупированных территориях.

«Может быть, вы когда-нибудь слышали нашу фамилию в России?» — спросили американские Разгоны у москвички. Та ответила, что в Москве живет писатель с такой фамилией, и обещала навести справки... История американских Разгонов была необычной и поучительной. Моисей Разгон, очевидно, бежал в Америку, не желая садиться в тюрьму, даже с благородным наименованием — «политический». Но и в Америке он продолжал проявлять свой бунтарский темперамент и радикальные взгляды. Он склонен к этому был еще и потому, что его многочисленные братья и сестры в России были большевиками, а старший из них — Израиль — был старым партийцем и крупным военачальником. Постоянной связи с родными у него не было, но главное о них он узнал: в тридцать седьмом большинство его братьев были расстреляны, другие — погибли или на фронте, или же во рвах вместе с уничтоженными немцами евреями.

И тогда бывший бунтарь пришел в себя. Решительно — как все, что он делал, — отказался от политической деятельности, стал нормальным бизнесменом, настолько удачливым, что всем своим четверым детям дал

образование, трое из них стали врачами — людьми престижной и высокооплачиваемой профессии. Не знаю, по каким соображениям, но родители никогда не говорили друг с другом на русском, и американские Разгоны выросли, не зная ни слова по-русски. Они стали состоятельными людьми, в Лос-Анджелесе построили себе богатые виллы на берегу океана, ездили по Европе и в другие интересные города и страны, избегая лишь родину своих предков.

Но узнав, что не всех Разгонов в России поубивали, что есть еще недобитки, настолько воодушевились, что с женами и мужьями приехали в Москву. Это было большое и волнующее событие не только для них, но и для меня, для всех осколков нашего прежде многочисленного клана. Нас поразило некое общее родовое сходство, при том, что мы были абсолютно разными людьми. Когда я где-нибудь бывал со старшим из них, Ирвингом, нас мгновенно признавали за близких родственников, наверняка братьев. То, что мы разговаривали через нашу милую переводчицу, не мешало единению и жадному интересу друг к другу. Ну, действительно, все ново и не всегда понятно.

— Ирвинг! Сколько же ты зарабатываешь? (Ирвинг был директором крупной клиники).

— Шестьдесят тысяч долларов в месяц. — И увидев мое растерянное выражение, добавляет: Но из них тридцать семь тысяч я отдаю в налог, а еще тысяч десять — в разные фонды...

Семеро американцев с моей фамилией с радостью и энтузиазмом осваивали Москву, ходили с родственными визитами, устраивали своим родичам банкеты в ресторанах, но все же заторопились домой. У них для этого были основания. В Лос-Анджелесе их ждал процесс: «Разгоны против правительства Соединенных Штатов».

Как я уже говорил, Моисей Разгон до своего некоего прозрения был радикальным бунтарем, профсоюзным деятелем, коммунистом — словом, причинял немало хлопот американским властям. И через много-много лет его спокойные и благополучные потомки заинтересовались прошлым своего отца. Узнать его несложно: очевидно, ФБР или что-то аналогичное имело на него до-

статочное досье. А через двадцать пять лет в США любой секретный документ становится доступным любому заинтересованному лицу.

Разгоны затребовали из ФБР досье своего отца и получили объемистую папку. Но в ней... В ней три или четыре страницы были залиты черной несмываемой и непроницаемой краской. Такие дела. И адвокаты, без которых ничего в Америке не происходит, сразу же вцепились в это нарушение закона и предложили немедленно начать процесс против правительства, востребовав с него «за моральные потери» бо-о-ольшую сумму. Свое американцы упускать не любят, и семерка наших родичей, тепло с нами попрощавшись и пригласив к себе в гости, отправилась домой.

В Америку я так и не поехал, с американскими родственниками связь поддерживать трудно из-за непреодолимой для меня языковой стены, но я сохраняю к ним самое теплое, родственное чувство и мне нравится, что в далекой Калифорнии живет расцветший, давший обильные побеги росток нашего рода. О моих американских родных я рассказываю, когда мне среди вопросов, задаваемых во время какого-нибудь моего выступления, попадается наивный вопрос: «А когда же у нас будет правовое государство?».

И тогда я рассказываю о том, как и почему в Америке возник такой для нас экзотический процесс, и прибавляю:

— Вот когда я смогу прийти в суд и возбудить дело «Разгон против правительства Российской Федерации» — вот тогда у нас и будет правовое государство.

Но, собственно, история моих американских родственников — это вставная новелла, которую я хочу дополнить другой вставной новеллой — о кубанских казаках Разгонах.

Перечитывая написанное для дочери (и в большой мере для самого себя), я понял тщетную попытку стать биографом своего рода. Наверное, это нужно и интересно — проследить, насколько возможно, истоки, какие есть у каждой семьи. Не ради комичной гордости, с какой сейчас устраиваются «Дворянские собрания», а бухгалтеры и техники-смотрители, инженеры и скром-

ные клерки разных НИИ титулуют друг друга князьями, графами или еще как. Смешно гордиться предками, если сам по себе ничего достойного не представляешь. А вот просто знать первичные ручейки своего рода, попробовать представить, кем были, как выглядели, как жили те далекие от нас люди, чьи биологические клеточки ты продолжаешь, — вот это, конечно, и интересно и поучительно.

Большая часть людей, о которых я рассказывал, носят мою фамилию и их родство со мной неоспоримо. Но сколь же волнующе для меня оказалась встреча с представителем других Разгонов — вовсе не принадлежащих к нашему клану. Фамилия моя довольно редкая, почти не встречающаяся. Поэтому удивителен был телефонный звонок человека, представившегося как Николай Пантелеевич Разгон и попросившего разрешение зайти.

Николай Пантелеевич оказался крепким жилистым высоким человеком среднего возраста — около сорока лет.

— Пришел передать вам привет от кубанских Разгонов, — сказал он мне, — от казаков из станицы Каневская Краснодарского края.

Уж сколько раз дразнили нас «иерусалимскими казаками»... Но тут передо мною сидел казак самый настоящий, и не иерусалимский, а кубанский. Но как-то совершенно непохожий на казака из фильмов Пырьева или Бондарчука... Но — казак! Несомненный. Ибо жители большой станицы Каневской, что между Краснодаром и Ейском, — прямые потомки тех запорожских казаков, которых при Екатерине II, разорив Сечь, переселили на новые, только что присоединенные земли. И среди тех, кто в середине восемнадцатого века поселились там, были и одна-две семьи Разгонов... А теперь они размножились, кто-то переехал в другие места, но большинство так и живет в своей станице, которая насчитывает более ста тысяч жителей и не стала городом лишь потому, что быть городом в этой странной стране — невыгодно... И стали кубанские Разгоны хлебопашцами, инженерами, учителями и даже — как американские — врачами. А мой Николай Пантелеевич, дипломированный строитель, закончивший Волгоградский институт, — просто-напросто владелец фирмы. Да, строительной фирмы, образованной из того строительного участка, где он был прорабом.

— А как же она создалась?

— Да просто так. Вот когда все распалось, исчезло и всякое начальство, а нам сказали, спасайтесь как можете, вот тогда решили мы — человек около полусотни — взять предприятие в свои руки. А мне сказали: «Коля! На черта нам эти акции-маракции — берись один, а мы у тебя будем работать». Ну, взял. И кредит большой в банке дали, да и оборудование у нас было.

— А что вы строите?

— Очень нужные вещи — бетонно-монолитные дома-коттеджи. Оборудование у нас американское, дома выходят хорошие, спрос очень большой.

— А где вы цемент берете? Он же строго фондированный.

— Да вы где живете, Лев Эммануилович? Новороссийск под боком, мы туда пару вагонов с продовольствием, обратно — эшелон цемента. У нас все есть, по бартеру, конечно.

— И хорошо живете?

— Очень. Как исчезли все эти обкомы-райкомы — так стали жить. У нас же природа какая! Все растет! Вот приедете к нам в гости, увидите, какая жизнь. Только не отымайте, что надо — сами дадим. Сами продадим.

— А вы, Николай, были членом партии?

— А как же! Иначе бы институт не окончил, прорабом не стал, мне так и сказали: ты все эти фигли-мигли знаешь, давай хозяйствуй. Только как человек! Я и хозяйствую. Довольны мои ребята.

— А откуда вы узнали, что в Москве есть другие Разгоны?

— Да мы что — дикие что ли? Мы и книги и газеты читаем. У нас в каждой разгоновской семье, пожалуй, есть ваши книги. И про жизнь вашу, такую несладкую, знаем. Ну, а эту вашу книгу про тюрьмы и лагеря — все читали. И «Огонек» читали, и «Юность» у всех есть. Раньше в Москве почти и не бывал. А теперь по делам нашей фирмы бываю частенько. И мне все наказывали: обязательно разыскать нашего московского Разгона, передать привет, вручить подарки...

Подарки он действительно вместе с каким-то помощником притащил. Просто с областной выставки «Достижения народного хозяйства». И среди них — трехлитровые банки с самодельным вином из знаменитой

«изабеллы». Ах, какое вино! А сам кубанский казак Николай Пантелеевич не пил! Чем и отличался от всех других Разгонов... Не пил ни вина, ни водки, ни даже настоящего шотландского виски, бутылку которого я поставил на стол.

— Николай! Как мне приятно знать, что и на Кубани, среди казаков есть Разгоны! Но вы же знаете, что мы не родственники, а однофамильцы. Вы — русские, а мы — евреи.

— Конечно, знаем. У вас же в книге написано, что вы еврей. Только, Лев Эммануилович, ну кто знает: кто от кого? Мы от вас или вы от нас?

Вот ради этой последней фразы Николая Разгона я и решил рассказать эту глубоко меня тронувшую историю обретения новых Разгонов. Наверное, свое украинско-русское кубанские Разгоны воспринимают столь же естественно, как я — мое еврейство. Но разве мы не едины в своем человеческом существе, разве не подчиняемся одним нравственным правилам: «Не убий», «Не укради», «Не пожелай...».

Но все же мой основной рассказ — не об американских или кубанских Разгонах, а о моих российских родственниках. И, конечно, среди них наиболее интересным был старший брат основоположника калифорнийских Разгонов — Израиль. Необыкновенно пестра, разнообразна и напряженна была жизнь этого человека. Совсем еще зеленым юнцом в 1908 году, в год моего рождения, он вступил в большевистскую партию. Он пробовал свои силы и проявлял способности в самых различных областях: журналистике, изобретательстве, поэзии. Но так как основной деятельностью Израиля были не эти области, а другие, то он неизменно садился в тюрьму, которая поджидала его всегда, как и всякого большевика. Талант и призвание Израиля раскрылись в совершенно другой и необычной сфере деятельности — в военной. Он ушел на войну с немцами, и там — неожиданно для окружающих — наиболее полно проявились основные качества Израиля: мужество, решительность, умение быстро принимать решения и непоколебимо проводить их в жизнь. Несмотря на свою национальность, Израиль был награжден несколькими георгиевскими крестами, произведен в прапорщики. В начале гражданской войны, как и многие дру-

гие бывшие журналисты, он стал военным и эта работа сделалась его профессией.

Но и в армии жизнь Израиля изобиловала такими же крутыми и неожиданными поворотами, как и до революции. В течение всей гражданской войны он занимал крупные командно-политические посты, но по окончании ее пошел учиться в Военную академию на не очень модное восточное отделение. Мой кузен был одним из первых выпускников Академии и по окончании ее уехал в Бухару, бывшую тогда народной республикой, не входившей еще в состав СССР. Там он был главнокомандующим народной армией, военным назиром (министром). В 1923 году я застал его в Москве заместителем комиссара Военной академии. Но непоседливая судьба Израиля не держала его долго на одном месте. В 1924 году он уезжает в Китай по приглашению правительства Сунь Ятсена и там становится комиссаром знаменитой Военной академии на острове Вампу, близ Кантона. Он был военруком знаменитого северного похода против Чжан Цзолия, и лишь территориальная близость к своей стране помогла ему унести ноги, когда Чан Кайши совершил свой контрреволюционный переворот. Через пустыни Монголии он вернулся в Москву. А через какой-то срок Израиль появляется в новом и совершенно неожиданном качестве — он моряк. Он в Ленинграде — комиссар Главного гидрографического управления и одновременно слушатель Военно-морской академии. Потом он был начальником Гидрографического управления, заместителем командующего Черноморским, а затем Балтийским флотом, начальником вооружения морских сил Союза... Его расстреляли осенью 1937 года.

Не в занимаемых им постах заключался секрет того интереса, симпатии и любви, которые он вызывал почти у всех знавших его. Я полагаю, что те черты, которыми я горжусь в своем отце, нашли наиболее полное и яркое выражение не в его сыновьях, а в его племяннике. Ни высокое положение, ни необходимость заниматься политикой, ни постоянное общение с теми, кто, по дореволюционной терминологии, назывался «особами первых классов», — ничто не повлияло на необыкновенную простоту, прямоту, правдивость и честность моего двоюродного брата. Про Платона Каратаева Толстой говорил, что его слова и действия отделялись от него так же просто и естественно, как запах отделяется от цветка. Эту удивительную толстовскую характеристику можно полностью приложить к личности Израи-



ля. Все в нем было человечно, красиво, лишено даже тени фальши и сообщало этому человеку с внешностью венского дельца неотразимое обаяние.

Родню свою, свой народ и язык, привычки и традиции Израиль любил столь естественно и откровенно, как это почти никогда не бывает у людей подобной категории. Для него было истинным наслаждением посидеть в кругу родных, выпить с ними, попеть еврейские песни, наговориться всласть на языке Шолом-Алейхема. В каждый свой приезд в Москву он бывал у нас в гостях и заказывал маме обед по-еврейски — с фаршированной щукой, блюдами, в которых главными ингредиентами были чеснок и перец в ужасающих количествах. И когда Ворошилов в шутку упрекал его, что он, наверное, нарочно наедается чеснока перед приемом, зная, что нарком не выносит этого запаха, — Израиль искренне отвечал, что так как свою тетку он видит реже, чем народного комиссара, ему приходится пренебрегать вкусами последнего.

Вот к этому-то человеку и прибегнул в минуту отчаянья мой отец. Он послал ему телеграмму в Смоленск, в штаб Западного фронта, где тот находился. Я уже почти примирился с тем, что не будет у меня ботинок и неизвестно, буду ли я ходить в школу. Наши кожи уже превратились в новенькие кожаные куртки председателя исполкома и его заместителя, и у меня сжималось сердце, когда я видел на плотной, обтянутой глянцевицей кожей спине председателя знакомый узор.

Не знаю, был ли мой двоюродный брат осведомлен о причине, по которой отец взывал к его помощи, но однажды город был совершенно потрясен: по Большой Оршанской промчался зеленый автомобиль. Чихая и стреляя выхлопами, он подъехал к Глинищу, к дому дяди Израйля. Это был первый автомобиль, который появился в Горках за всю его многовековую историю, но не знаю, что больше всего поразило горожан — автомобиль или сидящий в нем комиссар. Мой ответственный кузен пробыл в Горках несколько часов. Он проехал к председателю исполкома, и на другой же день сам секретарь исполкома принес нам домой четыре пары чудесных хромовых, новеньких детских ботинок.

Так я познакомился с Израилем. Он спросил меня: что я читаю, какие книги люблю, какие стихи мне больше нравятся: Пушкина или Демьяна Бедного. Я уже тогда здорово ориентиро-

вался в ситуации и понимал, что мне нужно назвать Демьяна. Но Израиль так внимательно на меня смотрел, что мне было стыдно ему соврать, и, запинаясь, я сказал ему правду, что стихи Демьяна Бедного я очень люблю, но Пушкин мне нравится больше. И он тоже ругал попов — быстро добавил я, желая хоть немного защитить любимого поэта от сурового комиссара. Но комиссар повеселел, сказал, что я молодец и что мы, конечно, будем друзьями. И это было правдой. Мы впоследствии стали близки, и я с гордостью сейчас думаю о том, что Израиль меня любил и проявлял ко мне большой интерес, внимание и заботу. А тогда, в Горках, уже поздней ночью он усадил в машину всех своих малолетних двоюродных братьев, довез до начала Оршанской дороги и там распрощался с нами. Автомобиль вздрогнул, заиграл рожком, стрельнул клубами газа и исчез в пыли.

21969 17



## ВТОРАЯ СТУПЕНЬ

**Я** начал учиться в школе первой ступени. Это был довольно скучный школьный год. Мои одноклассники только впервые узнавали, что река Амазонка протекает в Южной Америке, а я ее знал лучше, чем Проню, и мог рассказать обо всех опасностях, угрожающих путешественнику, плывущему по водам великой южной реки. Мне было скучно слушать перечисление имен русских царей, когда я уже прочел уйму книг об этих царях и царицах, включая даже толстый том Валишевского «Тайны императрицы». Единственной отдушиной были сочинения на вольную тему. Я посвящал их героям любимых книг и в них широко пользовался восклицательными знаками и многоточиями. Насколько я сейчас понимаю, стиль да и идеи этих сочинений были заимствованы мною у Виктора Гюго — писателя, в тот период прочно владевшего моим воображением. Но эти редкие сочинения не удовлетворяли мою потребность в публицистическом сочинительстве, и тогда уже бывшем моим большим местом. И я начал выпускать журнал.

В качестве авторов и редакторов я пригласил моих ближайших друзей по конькам и купанию в Бабьем бросе — брата Илью, Лазку Аарона, Яшу Вильнера, Мишу Бейлинсона. Журнал назывался «Вестник знания», на обложке его красовалась нарисованная Мишкой Бейлинсоном девица с факелом — словом, в нем было все, чему положено быть в настоящем журнале. Типографом был Илюша, который переписывал журнал со всей тщательностью, на которую только был способен. Первым номером я остался не очень доволен. В нем авторами выступали только члены редколлегии — помню, что я там был автором и рассказа, и очерка, и даже критической статьи. Очень скоро я смекнул, что в настоящем журнале нужно разносить авторов и ругательски их ругать. Так как ругать самих себя и свои произведения не входило в программу редакции, я разработал коварный план. Мы пригласили в качестве авторов двух девочек из нашего класса. Они писали нам рассказы и даже стихи в духе Желиховской, Чарской и других владычиц ихних, девочкиных душ.

Теперь нам было что ругать, и ругали мы этих бедных девочек с таким жаром и вкусом, что даже Соля, сначала относив-

шийся к «Вестнику знания», как к детской затее, не выдержал подобного соблазна и присоединился к нам. Он поместил в очередном номере нашего журнала разгромную статью, обвинявшую рыженькую девочку Соню Дворкину в плагиате, сентиментализме и всех других смертных литературных грехах, о которых он тогда имел какое-то понятие.

Таким образом, я уже в невинном отроческом возрасте (было мне лет двенадцать-тринадцать) проявил недюжинные способности к публицистике и понимание методов журналистской деятельности. Следует ли после этого жалеть, что эта деятельность дважды была прервана тем мистическим случаем, который, по уверению Блока, нас всех подстерегает...

Журналом я занимался недолго. В конце концов, он был интересен только мне, а другие члены редколлегии неохотно делали свое дело, предпочитая коньки или санки. Так он и засох. Я только и думал о том, чтобы скорее прошел этот год, я стал взрослым и перешел учиться во «вторую ступень», в настоящую школу, где учились Соля и Леком, в школу, поглощающую все время и все интересы. И только тогда, когда осенью 1921 года я на правах «второстепенца» вошел в большой кирпичный дом бывшей прогимназии, я почувствовал, что порываю с детством, выплываю на широкий простор настоящей, необыкновенно интересной жизни.

Ничего выдающегося в нашей жизни не произошло в эти годы. То есть были, конечно, серьезные происшествия, оставившие неизгладимое впечатление. Была война с белополяками; банды убивали проезжих на дорогах и готовились напасть на город; Горки много раз горели в разных районах; я чуть не утонул в большом ржавом пруду у городской бани — обо всем этом можно было бы рассказать более или менее интересно. Но не об этом я хочу сейчас рассказывать.

Имела ли для меня школа такое значение, какое ей положено иметь в жизни каждого человека? Я и сейчас затрудняюсь ответить. Я проявлял мало интереса к школьным наукам, учился весьма посредственно, хотя школа, к которой я питал жгучий интерес до поступления в нее, как я и ожидал, целиком захватила меня, когда я стал учеником. Надо сказать, что школа, в которой я учился, была довольно своеобразным явлением для советского города через три-четыре года послереволюционной ломки. Все происходящее в школе в огромной степени определялось чрезвычайно красочной личностью ее заведующего — Александра Леонтьевича Анеховского. Я не знаю, где и кем он работал раньше,

но, если допустить такое чудо, можно предположить, что это был редкостный, полностью сохранившийся экземпляр такого учителя, о котором мы могли знать, главным образом, по книгам Сологуба, Гарина, Елпатьевского. Высокий, с рыжими тараканьими усами, всегда ходивший в прекрасно сохранившейся форменной тужурке — он казался ожившей иллюстрацией к романам, повестям, воспоминаниям о царской классической гимназии. Именно такими, нам казалось, и были все эти директора, инспекторы, педагоги — такими и никакими другими.

Трудно было определить специализацию Анеховского: он преподавал какой-то странный предмет, называвшийся «историей культуры». Никаких учебников по этому предмету не было, и занятия сводились к тому, что из года в год Анеховский диктовал своим ученикам курс, начинавшийся со слов: «История культуры есть сумма труда человеческого...». Наиболее интересными были его комментарии, которые он предусмотрительно предлагал только запоминать, но не записывать. А комментарии эти, по нашему убеждению, сводились к откровенной, ничем не прикрашенной агитации против революции и Советской власти. Рассказывая о том, как по остаткам материальной культуры устанавливается культурный уровень народа и его государственного строя, Анеховский обязательно доставал из кармана два карандаша и, поигрывая золотым пенсне на длинном черном шнурке, говорил: «Представьте себе, что будущие археологи найдут вот этот фабричный карандаш и по нему станут определять степень культуры строя, при котором он был создан. Они увидят, как тщательно он сделан, отполирован, как пластично и мягко дерево, как черен и тверд графит. Они поймут, что такой карандаш мог быть создан только в государстве, стоящем на высокой ступени культуры. А потом они найдут вот этот советский карандаш — он с гримасой отвращения вытаскивал некрашенный карандаш — и увидят, как он примитивен, некрасив, как лохматится дерево, крошится графит, и они сделают вывод о состоянии культуры в тот период, когда был изготовлен этот карандаш».

За свою любимую советскую власть мы боролись с нашим директором всеми уже доступными нам средствами. Мы ходили на него жаловаться в уком, исполком, даже посылали делегацию в губернский город — все равно Анеховский сидел на своем месте прочно, а нас из всех учреждений выпроваживали вежливо, но настойчиво, с разъяснением, что наш заведующий большой специалист, а взгляды его не имеют существенного значения. Мы были убеждены, что все усилия Анеховского сводились к тому, чтобы школа, которой он руководил, была такой, какую он привык видеть до революции. И в этой деятельности он чрезвычайно

преуспевал. В школе не было не только комсомольской ячейки, но и ни одного комсомольца. Все старые формы чиновничества по отношению к учителям, а особенно к заведующему, соблюдались неукоснительно. Правда, Анеховскому приходилось допускать в школе такие новшества, как школьный совет и учком. Но школьный совет был подобран Анеховским в полном соответствии с его вкусами. Представителями общественности в совете полагалось иметь по одному от каждого класса — но и тут ловкий Анеховский нашел выход: он включил в школьный совет всех руководителей учкома и создал для них исключительно привилегированные условия. Учащиеся — члены совета — могли брать в школьной библиотеке книги без очереди, уходить по «общественным делам» с самых опасных уроков, они ведали распределением бумаги и карандашей, билетов на спектакли — словом, были у того «кормила», которое схоже с «кормушкой» не только по созвучию, но и по более существенным признакам. И я должен признаться в своем первом грехопадении, своем первом опыте политической деятельности.

Еще до того, как я стал «второстепенцем», я много слышал о том режиме, который установил в школе Анеховский. Я присутствовал при тайных сговорах Соли с Леккомом — двух общепризнанных лидеров школьной оппозиции всемогущему диктатору. Из этих разговоров я вынес убеждение, что в новой школе мне предстоит отчаянная борьба с тем, кто сочетал в своем лице все качества легендарных инспекторов и директоров гимназических времен. Но меня это не только не пугало, но заставляло нетерпеливее стремиться в новую жизнь — там, в школе должно было для меня воскреснуть, стать явью все, о чем я читал в книгах Ггарина и Елпатьевского о гимназистах: шпаргалки, обман злых учителей, гордая защита своего достоинства от Анеховского, дружба и сплочение в этой — почти революционной — борьбе всех лучших в школе. К этим лучшим я причислял Солю и Леккома и скромно надеялся, что и меня эта участь не минет.

Однако в действительности все оказалось не так, как в книгах и мечтах. Моя «оппозиционность» — как мне быстро стало понятно — носила вполне невинный характер и нисколько не мешала Анеховскому. Он не только не преследовал Солю и Леккома, но и делал вид, что покровительственно к ним относится, при встречах дружески хлопал по плечу, поручал им организацию в школе прогулок, экскурсий, балов — чем они и занимались с истинным увлечением... Я был настолько обескуражен моим открытием, что решил «бороться» в одиночку — и с Анеховским и с либеральными и неверными руководителями школьной оппози-

ции. На ближайшем же школьном бале-маскараде я выступил в разоблачительном репертуаре. Костюм себе я сделал, с помощью Илюши, в виде афишной тумбы. Круглый футляр из обручей и картона был обклеен язвительными объявлениями, в них доводилось до всеобщего сведения, что наш учком продается за карандаши и бумагу; что Анеховский ищет учащихся старших классов, готовых за небольшие льготы стать педелями для младшеклассников... Много было наклеено на моем костюме подобных памфлетов, и успех был шумный: в узенькую щелку для глаз я из своего футляра видел десятки смеющихся, толпящихся вокруг меня людей. Подошел и Анеховский, прочитал, усмехнулся, с покровительственным видом огляделся и не только не сраженный, но и вполне бодрый отошел в сторону, сказав: «Остроумно, но грубовато, грубовато, молодые люди...». Меня утешило только то обстоятельство, что до конца маскарада никто не мог догадаться, кто прячется в афишной тумбе. Единственной деталью, способной меня выдать, были ботинки, но я их предусмотрительно сменил на этот вечер. Впрочем, я не только не сразил своим костюмом врага, но даже и не получил первый приз: его присудили красивой девочке из нашего класса за костюм «Ночь». Так закончилась моя попытка заставить наших лидеров бороться с Анеховским. Соля и Леком похлопали меня по плечу, одобрительно посмеялись, но в этом смехе уж чересчур явно слышались знакомые бархатные нотки Александра Леонтьевича.

И вот тогда-то я исполнил незамысловатый трюк, который — в несколько иных масштабах — совершается политиками самых разных мастей. Я указал учкому на несправедливость того, что в школьном совете представлены только ученики старших классов. Я намекнул Соле и Лекому, что Борису Лебедеву и Мееру Амнуэлю мы — ученики младших классов — вовсе не поручали защиту наших интересов, а именно эти дылды из старших классов числились выбранными от нас, младших... Соля и Леком недооценили мои политические способности — они отклонили мое предложение. И на следующий же день мои эмиссары разбежались по всем младшим классам, приглашая учащихся на «общее собрание младшеклассников». Приобщение младших к активной политической деятельности проходило на высокой организационно-техническом уровне. Стол был накрыт розовой папиросной бумагой, председательствовал Лазка Аарон, Илюшка строчил протокол, в президиуме восседали бледные от волнения представители всех классов. Я наглядно демонстрировал, что такое демократия для всех! Боюсь, что речь моя несколько смахивала на речь Гуинплена в палате лордов, но все равно она была предельно зажигательна. Я объяснил своим товарищам, что нас — младших классов —



в школе целых восемь, а старших — только три. И именно эти три класса являются представителями всей школы в учкоме и школьном совете, от чего для нас — младшекласников — происходят неисчислимыи печальные последствия. Вошедшие во вкус политической жизни пятикласники сопровождали мою бурную речь одобрительно-восторженным воем. К середине моей речи в большой класс, набитый школьниками, протиснулись Соля и Леком. Они стояли у двери и встревоженно слушали гром оваций, покрывавших мои уверения, что только тогда, когда наше представительство будет поручено нам же самим, мы получим все те права, в которых нам сейчас отказывают...

С учительской кафедры, откуда я выступал, мне было видно, как Соля озабоченно шепчет что-то Лекому, задумчиво кусающему палец... «Кусай, кусай», — злобно и победно думал я, вспоминая на крыльях своего триумфа. По моему предположению была избрана делегация, чтобы предъявить учкому требование о нашем представительстве в нем и в школьном совете. В случае отказа я предложил создать самостоятельный учком, представляющий все младшие классы — более двух третей школы. Совершенно очевидно, что руководителем делегации был избран я. А дальше — дела пошли так, как идут подобные дела и у взрослых. Лидеры учкома проявили разумный оппортунизм, а я — ту сговорчивость, которая нужна при всякой сделке. Я стал членом президиума учкома и членом школьного совета. Тогда я себя (и, разумеется, других) уговаривал, что это событие является большой общественной победой сил света над силами тьмы. Но трудно назвать преимущества и права, которые получили мои соученики от подобной реформы. Зато мое честолюбие было полностью удовлетворено. Я стал одним из лидеров школы, влиятельным лицом в учкоме и в совете, ибо я был представителем большинства учащихся, на каковое обстоятельство я всегда нажимал при всех спорах о квотах на всякие школьные развлечения и удовольствия, которыми Анеховский мастерски улещивал учащихся.

...Снова и снова я — содрогаясь! — перечитываю свои воспоминания о школе, написанные более сорока лет назад. Читать это мне стыдно, как будто вспоминаю какие-то детские непристойные забавы. И хочется про это забыть. Взять и вычеркнуть из моей старой тетради — чего проще! Не имею права. «Но строк печальных не смываю...»

Ведь писал это не вчерашний комсомольский не-офит, каким я стал в Москве, в семнадцатой школе

имени Бухарина. Писал серьезно — в поучение своей дочери — человек, проживший большую часть своей жизни, за плечами сорок с гаком лет... Да и не в годах дело, позади уже было все: крушение моих идеалов — политических, педагогических. Не только трупами идей, трупами моих близких, родных, друзей и знакомых был устлан пройденный мною путь. И мне тогда казалось, что я избавился от холопской преданности государству, что я стал другим — в чем-то самом главном...

Читаю написанное в Усольяге в 1952 году и, к стыду своему, сознаю, что тогда еще оставался прежним — крепко слепленным «советским человеком», нисколько не сбросившим «ветхого Адама». В борьбе, какую я и мои товарищи вели с Александром Леонтьевичем Анеховским, конечно, присутствовало нечто высшее, нежели обычное, часто озорное, противостояние учителей и учеников. Мы все очень любили советскую власть. Анеховский, со всей очевидностью, терпеть ее не мог. И это было достаточно серьезным основанием для нашей борьбы с директором школы. Но если Александр Леонтьевич в этой борьбе соблюдал педагогический такт, великодушие и юмор, то мы уже пускали в ход весь набор советских методов: интриги, доносы, демагогию... Черт возьми! Мы были еще детьми, а в нашем арсенале уже было все мерзкое и подлое, что потом, когда мы выросли, стало нормой жизни... Насколько же мы были выше и благородней в раннем детстве, когда в хедере приклеивали ребе Нахману бороду сургучом к столу или же запускали в сортир отца Василия полпуда дрожжей...

Может быть, Анеховский и был чрезмерно прямолинеен в своих попытках сохранить для нас хоть обломки ниспровергаемой культуры. Но вспоминая его, его увлекательные рассказы о дворцах (он называл их «палаццо») и храмах (они у него именовались «культовые сооружения»), я понимаю, что это была отчаянная попытка вбить в наши замусоренные головы то, что вечно.

И он весьма преуспел. Теперь-то я понимаю, скольким я ему обязан. Моим увлечением историей городов, улиц и площадей, дворцов и храмов, моей страстью (до сих пор не остывшей) к путешественникам в большой мере обязан старому учителю Александру Леонтьевичу Анеховскому.

Благодарен ему за это и прошу запоздалого прощения у его тени...

Было бы неправдой сказать, что нашим учкомом и ограничивалось то новое, что принесла в школу революция. Влияние нового давало себя знать в большом и малом. Как я уже говорил, комсомольцев в школе не было. Комсомольская организация в нашем городе была совсем малочисленной и на нас, школьников, не обращала никакого внимания. Одно время в городе действовал сореvуч — союз революционных учащихся. Я немедленно записался в этот союз, но был крайне разочарован тем, что его деятельность ограничивалась созданием различных кружков: литературного, ботанического, художественной вышивки... Я записался в литературный кружок и месяца два с тоской сидел на его занятиях, где разбирали книгу Амичиса «Школьный год». Книга мне нравилась, но я не понимал, как можно долго обсуждать, кто из героев хорошо поступает, а кто — плохо и как им следовало бы себя вести, по нашему мнению. Я быстро сбежал из сореvуча. А этот союз так же внезапно исчез, как и появился.

Но не одним сореvучем ограничивалось проникновение нового в нашу школьную среду. По инициативе Соли в школе организовали, вопреки желанию Анеховского, политический кружок. Он был гораздо интереснее, чем тот литературный, из которого я сбежал. В этом кружке мы занимались тем, что изучали книгу Богданова «Политическая экономия в вопросах и ответах» и популярную в то время книгу «Азбука коммунизма». Немного, но и эти книги давали нам возможность для новых выводов о Боге, о государстве, о прошлом и будущем — выводов, казавшихся нам тогда смелыми и неожиданными.

Хочу остановиться. Хочу защитить не свое детство, оно всегда, или почти всегда, счастливое, хочу защитить школу моего детства и отрочества.

Наверное, ни одно из великих достижений двадцатых годов — ни литература, ни театр, ни живопись — не было так оболгано, загажено, растоптано, как школа. Она-де выпускала неучей, оболваненных полурабфаковцев, годных лишь для того, чтобы стать следователями или чтобы вытеснить, изгнать старых, порядочных специалистов. И какой-то сукин сын (кажется, по фамилии Галковский) в наглой и глупой статье в «Независимой газете» с облегчением и радостью сообщил, что это поколение школьников двадцатых годов, к счастью, погибло или на войне, или же в ГУЛАГе.

Я принадлежу к этому поколению, прошел ГУЛАГ, выжил и кому, как не мне, сказать о своей школе хоть

немного правды, вдруг она пробьется сквозь плотную завесу откровенной лжи или же политической мифологии.

Вспоминая, спустя сорок лет, свою школу второй ступени, я с каким-то идиотским наслаждением рассказывал, как мы травили интеллигентного, порядочного директора, как ловко учились политическим играм и интригам, как уже зрелая «руководящая и направляющая» хорошо и продуманно нас учила. Но ведь не все стали первыми учениками... Большинство сражалось с чужими фашистами, которые всегда хуже своих; защищая своих жен, детей и стариков, они почти безоружными шли в ополчение и умирали под немецкими танками; скорченными погибали на нарах бесчисленных островов архипелага ГУЛАГ...

Новая школа, торжественно названная «единой и трудовой», была счастьем для миллионов детей низших классов. Их было подавляющее большинство в России. И новая школа ничем не напоминала ни сельскую церковно-приходскую, ни земскую — ту, что так трогательно изображал в своих картинах Богданов-Бельский.

В новую школу с энтузиазмом пошли тысячи, десятки тысяч учителей, мечтавших, чтобы школа перестала пахнуть казармой. Миллионы детей стали учиться не только правописанию и четырем правилам арифметики, но и узнавать прекрасное в живописи, музыке, спорте. Разве не этому нас учили такие учителя, как Александр Леонтьевич Анеховский? И самоуправление, которое вводили в школе, — оно воспитывало не только маленьких себялюбцев, каким был и я, но взрастило в детях чувство собственного достоинства, создавало атмосферу человеческого общения с учителями, нейтрализовало рабское, холуйское сознание.

Те мифы о годах тоталитаризма, которые культивируются сейчас, не пощадили и детскую самостоятельность. Пионеры давно уже стали темой вызывающих брезгливость статей, послых фельетонов, картин соцарта. Пионерская организация в общественном сознании стала пародийно-воснизированной частью той советской школы, которая от царской гимназии отличалась так, как концентрационный лагерь — от казармы. Утвердилось мнение, что пионерская организация — место, где воспитываются павлики морозовы. Это все даже не чушь, а упорное пещерное невежество!

Пионерская организация, которая была не только наследницей, но и последовательницей скаутского движения, не была соединена со школой. Это случилось только в год «великого перелома», 1929-й. А до этого пионерские отряды, собственно, были внешкольными территориальными детскими клубами. Они существовали на средства профсоюзов, ими руководили — на общественных началах — энтузиасты из молодежи. Молодежь эта была комсомольской, и пионеры, конечно, были очень идеологизированной организацией. Но для детей имело значение не столько изучение коммунистического катехизиса, сколько детская дружба, чувство равенства, увлекательные походы, близость к природе, гордость за то, что они делают добрые дела. А они их делали. И в первую очередь это было не только посильное, но очень большое участие в ликвидации детской беспризорности, а еще больше — безнадзорности.

В двадцатых годах великие советские педагоги — Шацкий, Леонтьев и другие — создавали действительно новую педагогику, основанную на том, что в школе учитель имеет дело не с классом, а с учеником — каждым учеником в отдельности. Не коллектив должен видеть перед собой учитель, а каждого ребенка, подростка с его характером, привычками, влиянием семьи и среды. И отношения учителя с учеником должны основываться не на подчинении ученика учителю, а на сотрудничестве. И одним из главных методов в познании ученика был метод тестирования.

Собственно, это та школа, принципы которой сейчас распространены во многих западных странах. И когда в Иерусалиме дети моего племянника, захлебываясь от радости жизни в школе, рассказывали мне о ней, я узнавал в этих рассказах черты той самой школы, которую формировали великие энтузиасты двадцатых годов. Но когда Сталин поручил бывшему латинисту тверской гимназии Владимиру Петровичу Потемкину запретить все эти революционные бредни и восстановить дореволюционную гимназию, первый удар пришелся по школе Шацкого, по его последователям. Их обозвали «педологами», и этот вполне научный и уважаемый термин стал почти непристойным ругательством, и не было таких гадостей, какие бы не писали про них журналистские сикофанты.

А вместе с этой только-только возникавшей новой школой была ликвидирована пионерская организация. И заменена неким школьным аппендиксом — новым видом школьных уроков полуказарменного свойства. Это были, как говорится, «другие песни». Но и время для них наступило другое.

На каком-то большом толковище того времени, посвященном детству и детской литературе, я сказал, что так называемая «пионервожатая», которой пионеры говорят «вы» и называют «Марья Ивановна» — никакая не вожатая, а самая обычная учительница — «учителка», как выражаются школьники.

В перерыве ко мне подошла молодая красивая женщина — секретарь ЦК комсомола, председатель Главного совета пионерской организации — словом, главный вожатый страны.

— Лев Эммануилович! — обратилась она ко мне. — В ваше время вам приходилось обращаться к Генеральному секретарю ЦК комсомола?

— Приходилось.

— А как вы к нему обращались, как называли?

— Как все комсомольцы обращались друг к другу: на «ты» и по имени.

— Ну вот. А когда мы, секретари ЦК, собираемся на заседание и входит наш первый секретарь, то мы все встаем, а называем мы его только по имени-отчеству. Другое время.

Получилось, что в повествование о своем детстве, своей жизни я вставил горячечную, не очень глубокую публицистическую статью. Но эта школа, пионеры — не просто часть моей жизни, а лучшая ее часть, во всяком случае, самая радостная. В прожитых мною восьмидесяти пяти годах столько есть дурного, о чем вспоминать не хочется. И тем сильнее меня тянет защитить то хорошее, что было в жизни детей, в моей собственной жизни.

Кому же и делать это, как не мне, которому судьба сохранила жизнь и память.

21969 18



## НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

**С**ильнее всего то новое, что принесла революция, открылось для нас в возможности заниматься тем, что каждый любил: музыкой, рисованием, спортом... Как ни был глух тот кусок России, где находились Горки, — огромные изменения происходили и в нашем городе. Все то, что раньше было доступно только богачам, стало возможным для всех. В городе открылся музей. Туда свезли из имения князя Дондукова-Корсакова, из домов дворян и купцов красивую мебель, редкие ковры, драгоценный фарфор, старинные шпаги и пистолеты, нарядную парчовую и бархатную одежду. И мы могли смотреть на эти вещи, любоваться картинами, трогать (тайком от служителя музея) мягкий ворс бархата, кружевную насечку на пистолетах. Музыкальные инструменты тоже свезли в один дом и открыли студию, где обучали музыке всех желающих. Даже Соля стал учиться игре на рояле и доучился до того, что на каком-то концерте играл галоп Доницетти, чем и вызвал слезы счастья у нашей матери. В бывшем Дворянском собрании, превращенном в Народный дом имени Я.М. Свердлова, открылась изостудия. Леком и его брат Миша (тот потом и стал художником) занимались в изостудии, обзавелись этюдниками и не просто бегали купаться, а ходили «на натуру». Это означало, что они брали с собой этюдник и в перерывах между нырянием и французской борьбой на песке рисовали лес, песчаный берег, облака... А сколько было кружков — музыкальный, хоровой, спортивный! Старшая дочь богача Гинзбурга, ставшая учительницей, увлеклась ритмикой по системе Далькроза, и мы все ходили на цыпочках, делали под музыку всякие сложные движения и разыгрывали на лужайке в лесу ритмические пантомимы в стиле античного спектакля. Одним словом, перед нами раскрылся целый мир новых интереснейших занятий. Я, конечно, бросался во все места: пробовал рисовать, но у меня не оказалось никаких способностей; начал учиться игре на рояле, но сбежал, не выдержав длительных и мучительных упражнений. Единственным прочным моим увлечением стало пенне.



У нас в школе появился новый учитель — плотный, приземистый хохол с такими длинными, опущенными вниз усами, что, казалось, он выскочил из какой-то иллюстрации к книгам Гоголя. Он принес с собой в школу скрипку и без долгих объяснений (он отличался необыкновенной молчаливостью) начал отбирать учеников для хора. Новый учитель любил, чтобы его называли регентом, отлично знал свое дело и хор создал большой и хорошо слаженный. У меня обнаружился приличный альт, и хор этот целых два года доставлял мне много радости. Мы разучивали и музыкальную классику, и огромное количество превосходнейших народных песен — русских и украинских. Вечерние спевки были любимейшим моим занятием. Регент долго и упорно разучивает мелодию с каждым голосом в отдельности, он ругается, и нередко его смычок опускается на чью-нибудь голову. Но потом он начинает сводить голоса в общий хор, и песня — красивая до мучительности — звучит радостно и громко, от нее на душе становится, как от хорошей книги. И как приятно возвращаться домой после спевки. На улице морозно, снег скрипит под ногами и переливается под луной цветными искрами. Мы идем серединой улицы, взявшись под руки, смеемся, рассказываем что-то, перебивая друг друга, поем, и хочется, чтобы без конца длилась эта ночная прогулка — сияющая и светлая, как сама юность.

Но самыми главными для меня были книги и театр. Давно уже позади осталось время, когда я робко подходил к барьеру библиотеки и брал ту книгу, которую мне давала библиотекарьша. Теперь я пользовался в настоящей «взрослой» библиотеке неслыханной привилегией — допуском к книжным полкам. Не помню, как мне это удалось — кажется, библиотекарям надоело слышать на все их предложения один и тот же ответ: «Читал». И они предоставили мне возможность самому находить еще не читанные мною книги. Я не злоупотреблял их доверием. К книгам я относился раньше и сейчас отношусь, как к самому красивому и дорогому, что только может создать человек. Вид порванной книги вызывает у меня почти такое же чувство, как вид раненого человека. И — кажется — я никогда не воровал книг, хотя они — единственное, что может вызвать у меня подобное низменное желание.

Горецкая городская библиотека была большой и богатой, какой редко бывает библиотека в таком маленьком городе. Да это и неудивительно: в основном она состояла из книг князей Дондуковых-Корсаковых. Неподалеку от Горок, в восемнадцати километрах, находилось большое родовое имение этой княжеской фамилии — Романово. Я однажды туда ездил и впервые увидел

настоящий дворец — великолепное огромное здание в большом парке. Однако дворец был пуст. Все убранство, мебель и книги были вывезены. Но на мое счастье, вся княжеская библиотека вместе с роскошными шкафами красного дерева, с бюстами писателей и резными латинскими афоризмами очутилась в горецкой городской библиотеке. Дондуковы-Корсаковы издавна претендовали на влиятельное положение в русской науке и литературе. Это про одного из них написал свою знаменитую эпиграмму Пушкин: «В Академии наук заседает князь Дундук...». В библиотеке князей были собраны все книги русских писателей и почти всех иностранных писателей в русских переводах.

Снова не могу не отвлечься от детских воспоминаний. В княжеском имении поразил дворец, впервые увиденный в жизни; огромный, удивляющий разумной красотой парк; еще ощутимы были признаки вельможной жизни.

Я знал, что уже давно бывшее имение Дондуковых-Корсаковых называется Ленино, что оно очень известно как место первой битвы новой, просоветской польской армии с немцами. Но в тот день, когда спустя полвека случай привел меня в родной город, мне захотелось посмотреть и на бывшее Романово. Ведь рядом, всего восемнадцать верст.

«Ах, война, что ты сделала, подлая...» Не было ничего из того, что мне запомнилось. Никаких следов векового парка, ни одного кирпича из величественного дворца, ничего!.. Несколько типовых строений совхоза да еще на пригорке здание музея, построенное в форме солдатского шлема. В музее — унылый и некрасивый набор всего, что в таких музеях обычно бывает: схемы боя, фотографии, портреты героев, оружие, воинская одежда и снаряжение, некрасивая, аляповатая диорама. Это вместо тех красивейших вещей, которые сначала находились во дворце, потом были перенесены в Горецкий городской музей, а затем разграблены немцами или местными мародерами. Еще с одной страницей воспоминаний покончено.

Система моего чтения отличалась не столько вкусом, сколько невероятной методичностью. Я начинал читать писателей с первого тома — с предисловия Бирюкова или Венгерова — и

кончал последним: письмами, примечаниями и алфавитным указателем... Так, я начал с Пушкина и Гоголя и закончил никому неизвестным писателем Афанасьевым-Чужбинским, издавшим в семидесятые годы прошлого столетия за свой счет двенадцать роскошных томов повестей из гусарской жизни.

Такая система чтения навряд ли годится и для взрослого читателя, а мне тогда было тринадцать-пятнадцать лет. Но за исключением немногих авторов, почти все русские писатели были мне близки и милы. Даже Потапенко, Гусева-Оренбургского, Федорова мне было интересно и приятно читать. Гораздо сложнее оказалось применить мою систему к чтению иностранных авторов. Большая часть княжеской библиотеки состояла из переводов, главным образом, французских писателей. Я давился, но добросовестно читал Поля де Кока, Понсон дю Террайля и множество других, фамилии которых я уже не помню. Мне были чужды все их герои, их страдания и радости, я проникся к ним таким безразличием, что не заметил прелести Флобера, мощи Бальзака. Впрочем, мне тогда это было простительно... Зато я зачитывался книгами Эркмана-Шатриена и, признаюсь, немец Шпильгаген мне нравился больше, чем Жорж Санд.

Движимый не только страстью, но и упорством, я одолевал том за томом, шкаф за шкафом французов и немцев, пока не наткнулся на шкафы с английскими писателями. Их было немного: Вальтер Скотт, Филдинг, Диккенс, Теккерей — но с каким же упоением я приник к ним, какой свежестью на меня повеяло после напыщенных французов, после скучных и рассудительных немцев. Есть у английских писателей черта, роднящая их с великими русскими писателями — любовь к своим героям, бесконечное участие и жалость к ним. Не знаю, какой дурак или изувер придумал, что жалость унижает человека.

«Жалость — религия слабых» — это сказано напыщенно и плохо. Мне кажется уродом человек, не любящий Диккенса, не понимающий его юмора, не растроганный его любовью и жалостью к несчастливому своим героям.

Вот так, ошущью, руководимый своими слепыми симпатиями, блуждал я в джунглях мировой литературы. Впоследствии, уже взрослым, я перечитал большинство этих книг. Много нового и интересного, красивого и умного я открыл в них при повторном чтении. Но на всю жизнь неизгладимыми остались впечатления от первого знакомства с книгами. С детских лет я не перечитывал «Человек, который смеется» Гюго. Но я помню эту книгу во всех мельчайших подробностях. Я никогда больше не встречал то издание с иллюстрациями Гюстава Доре, которое я тогда читал, но помню эти иллюстрации все — до концовок в

главах, до мельчайших заставок. Этот роман Гюго, как и многие другие книги, поражал и захватывал меня до того, что я лишался сна, способности учиться, разговаривать с людьми... Многие часы я мог неподвижно сидеть, представляя себе героев книги во всей их потрясающей реальности. Герои таких книг никогда не жили для меня в чужом мире, как на экране кинематографа. Нет, они были рядом со мной, они принимали черты моих близких, друзей, меня самого. Вот, может быть, почему я не любил (и продолжаю не любить) книги, в которых убивают близких людей ради слов и идей, какими бы высокими и красивыми они ни были. Отвратителен и презираем Урия Гип, но для меня он приемлемей Симурдена, убивающего любимого сына ради кровавой, нетерпимой догмы. Я не люблю «Тараса Бульбу» за то, что Тарас убивает сына — эта сцена вызывает у меня не столько ужас, сколько брезгливость, нравственную тошноту. Нет, «Давид Копперфильд» важнее для детей, чем «Тарас Бульба». Ни в одной стране, верно, не написано столько хороших книг для детей, как у нас в советское время. Но по-прежнему я считаю, что книги Диккенса должны входить в обязательную программу чтения человека, которому предстоит жить в этом несовершенном мире. Я никому не рекомендую ту систему чтения, которой я пользовался в детстве, и если бы я руководил чтением своей дочери, я бы тщательно выбирал книги. Но я и не жалею о том, что я так читал. Я читал много и жадно, и, как всегда, настоящее, полновесное отделилось от мусора и плевел, отстоялось в моей душе и осталось в ней и в моем сознании прочно и незыблемо.

Ах, став взрослым, очень взрослым — не надо перечитывать любимые книги детства и юности! Пускай они останутся жить в душе и памяти такими, какими их впервые воспринял — в их величии, восторге, слезах...

Человек средних лет, перечитал Гюго и содрогнулся от котурнов, фальшивой возвышенности, чрезмерно красивых слов. Нет, это не чтение для взрослого, уже познавшего жизнь человека. А мой любимый, читанный-перечитанный в детстве и юности Джек Лондон! Перечитывал это спокойно, почти равнодушно, часто скучая. Я побоялся и не стал перечитывать «Овода» и «Хижину дяди Тома» — пусть они соседствуют в моей памяти с Фолкнером и Стейнбеком, Томасом Манном и Сент-Экзюпери. Не прикоснусь к ним!

А англичан перечитываю почти с прежним удовольствием. «Записки Пиквикского клуба» люблю открывать

и перечитывать на любой странице. И выдержал испытание возрастом Горький. Конечно, не тот Горький, у которого «море смеялось», чьи ламентации про Данко, старуху Изергиль и семью Заломовых стали проклятием для школьников, а Горький второй половины жизни — помневший, подобревший и писавший свои сочинения так, как и положено великому писателю. А он был таким.

Почти не меньшее значение, чем книги, имел для меня театр. Я жил в маленьком провинциальном городке, где никогда не было постоянного профессионального театра. Но мне и здесь повезло. Голод и революционные неурядицы занесли в наш город талантливого актера. Носил он странную, неактерскую фамилию — Рекало. Но, за исключением этой фамилии, он был актером с головы до ног, настоящим актером старой закалки. Кроме того, он был неплохим организатором, опытным режиссером, он сумел создать в нашем городе настоящий театр.

Дни спектаклей были для меня событием первостепенного значения. Театр был платный, желающих попасть туда было много, но я преодолевал эти трудности, пользуясь своими родственными связями с оркестром. По всем традициям старой провинциальной сцены перед началом спектакля и в антракте обязательно играл оркестр. Как и раньше, большинство музыкантов оркестра были моими близкими родственниками, поэтому я сумел твердо завоевать право в дни спектаклей относить в Народный дом трубу, на которой играл отец. Я приходил раньше всех, держа в руках изогнутую чудовищных размеров трубу и, не обращая внимания на явное неудовольствие капельмейстера — дяди Гили, усаживался перед сценой в загородке для оркестра. Начинаются томительные минуты ожидания: рассаживается публика, оркестр играет увертюру, наконец гаснет свет, поднимается занавес — и я уже весь целиком на сцене, с героями, их страданиями и восторгами.

Репертуар театра был дореволюционный, настоящий репертуар провинциального театра — от Шекспира до Зудермана, от Островского до Шпажинского и Чирикова. И все-таки это были те авторы, которые, по моему разумению, и должны воспитывать молодежь. Я видел на сцене пьесы Шекспира — «Гамлет», «Отелло», «Ричард III», «Макбет»; пьесы Шиллера, большинство пьес Ибсена, Гауптмана; я пересмотрел почти все пьесы русских драматургов: Островского, Чехова, Горького, Потехина, Леонида Андреева, Шпажинского, Чирикова, Гардина...

Много я видел трухи, но это не запомнилось, а вот Шекспир, Шиллер, Ибсен, Островский, Чехов — навсегда отпечатались в моей памяти.

Как всегда в таких случаях бывает, моя страстная любовь к театру перенеслась и на актеров. Когда Рекало в своей актерской крылатке проходил по улице, я готов был идти за ним куда угодно, лишь бы слышать его низкий бархатный голос, видеть золотой оскал его зубов — эти коронки одинаково блестели в трагическом объяснении Гамлета с матерью и в безудержном хохоте Шельменко-денщика. Я даже стал с нежностью относиться к строгой и холодной тете Маше — она ведь была не только женой нелюбимого дяди Гили, но и королевой в «Гамлете», матерью в «Привидениях» Ибсена. Даже на моего приятеля Лешку Плетнева я стал поглядывать с большим почтением, чем он того заслуживал: ведь его брат — студент Петя — играл первого любовника во всех спектаклях нашего театра. В этого низенького, обаятельного студента Петю Плетнева я был влюблен почти не меньше, чем в самого Рекало. Я совершенно не удивлялся, когда заставал его в укромных уголках институтского парка, целующегося с дамами — всегда с разными... Мне казалось вполне естественным, что каждому и каждой хочется поцеловать Петю, такого замечательного актера, вчера только бывшего Лаэртом — в черном трико, с блестящей шпагой в руке...

Не я один болел этой страстью к театру. Ею были заражены все мои друзья — и сверстники, и более старшее поколение. Солю, Лекома, Леву Рывлину и других Рекало привлек к спектаклям в качестве статистов. В «Уриэле Акосте» одетые в черные балахоны, со светильниками в руках, они участвовали в мрачной сцене проклятия Акосты; в «Запорожце за Дунаем» Соля, Леком и их друзья рубились саблями с такой самоотверженностью, что родные в зале взвизгивали от вполне обоснованного страха. И, конечно, театр организовали и у нас в школе. Учитель физики Антон Антонович Краевич был нашим любимым учителем не только потому, что он всегда был в оппозиции к Анеховскому и дружил с нами, но и потому, что обладал настоящим сценическим талантом. Только тяжелый запой, которым он страдал, помешал ему сделать карьеру в театре, как, впрочем, помешал сделать и ученую карьеру. Он открыл в школе драматический кружок. Я был слишком мал, чтобы принять в нем участие, и ограничивался тем, что ходил на все репетиции, задыхаясь от волнения, следил за актерами и подсказывал им текст ролей, который знал лучше них. Первым школьным спектаклем были «Зори» Верхарна. О, как я любил Солю, когда он на сцене произносил пламенную речь над трупом павшего трибуна: «Здесь, на площади Вели-

кограда, посвященной народу, покоится тело Жака Эренъена. Пули могли закрыть ему глаза, сделать мертвым его лицо, но убить его не могли!..». Я готов был простить брату и наши домашние ссоры, и его невнимание ко мне, и то, что мне приходилось делать за него всю домашнюю работу.

Моя страсть к театру все же была замечена Антоном Антоновичем, и когда в школе поставили «Бедность не порок» Островского, мне дали роль Егорушки. Это была очень ответственная роль — с монологом, открывающим спектакль. Кажется, в период его подготовки я не получил ни одной хорошей отметки, даже по физике, которую преподавал снисходительный Антон Антонович. Но зато спектакль был очень удачный, мы его много раз повторяли и даже показывали в Народном доме.

Конечно, не одним театром ограничивались наши увлечения. Как и все мальчишки всех времен и народов, мы отдали дань спорту. Футбол в те времена не был еще такой повальной болезнью, как сейчас, — его тогда заменяла французская борьба. В кинематографе устраивались встречи местных борцов, на которых мы были обязательными зрителями. И долго после этого церемонные «тур-де-бра» и «тур-де-тет» заменяли в наших стычках вульгарную затрещину. А иногда наш город посещали и приезжие гастролеры, показывавшие невиданные чудеса спортивной техники: они ломали о голову кирпичи, разгрызали стекло зубами, поднимали сразу по шесть человек, ходили босиком по гвоздям — одним словом, это был тот же спорт, но во всей его первоизданной дикарской красоте. Коронным номером подобной программы было «погребение» живого артиста. К могиле, выстланной досками, подходил одетый в черный саван гастролер, с приличествующей для такого момента мрачной физиономией, кланялся на все четыре стороны, прощаясь с белым светом, и укладывался в свою могилу. Его закрывали доской и начинали под оркестр, игравший похоронный марш, забрасывать землей. Через пять-десять минут под бравурный туш могилу отрывали, и с видом человека, только что вернувшегося с того света, появлялся артист... В могилу никто из нас залезать не решался, но хождение босиком по острым гвоздям оказалось довольно легким делом — нужно было только, чтобы гвозди были вбиты ровно и не очень далеко друг от друга.

Поражает неистребимость этой разновидности искусства, живучесть примитивнейших развлечений. Не знаю как во время позднего неолита, но, безусловно, на этрусских и римских стадионах разыгрывалось нечто по-

добное тому, чем мы любовались в маленьком белорусском городе в двадцатые годы. И с тех пор ничего не изменилось! Совсем недавно с дочерью смотрел по телевизору передачу «Самые могучие люди планеты». Приехавшая из Америки группа молодых людей, которым «культуристы» накачали неестественно могучие мышцы, перед огромной аудиторией разыгрывала то самое шоу, о котором я только что вспоминал. Под визг и аплодисменты публики они рвали цепи, поднимали по шесть человек, ложились на гвозди. Я задышался от удовольствия, подсаживая дочери, что сейчас будет происходить.

И те, кто в цветных трико расхаживали по эстраде, и те, кто заполнял огромный зал, — все они были такие же, как прежде... Но не будем делать из этого чрезмерно глубоких выводов!

С высокоидейной темы о воспитательном значении книг и театра я соскользнул уже на развлечения. И при этом не могу не упомянуть о вечном, неистребимом источнике наиболее захватывающих и напряженных удовольствий — городских пожарах. Трудно, даже мальчишкам, признаться друг другу, что они ждут не дождутся пожара. Но сколько раз поздней ночью, когда уже исчерпаны все возможные удовольствия суток, мы с тайной надеждой смотрели на небо: не появится ли где узенькая розовая полоска зарева начинающегося пожара... Горки — город деревянный, и пожары здесь были событием неизбежным и частым. При пожаре просыпались все жители нашего города. Мама к этому всегда была готова еще и потому, что Соля уже состоял в пожарной дружине. Бывало, ночью просыпаешься от того, что мама трясет тебя за плечо, и уже по ее бледному и встревоженному лицу — еще не слыша набата — догадываешься, что случился пожар... Легкий озноб от тревоги и ночной прохлады покрывает кожу пупырышками, зубы начинают непослушно выбивать дробь. Мы наспех одеваемся, выбегаем на улицу и видим, как на востоке розовым туманом дрожит и переливается слабое зарево. Значит, горит где-то в Заречье... Мимо меня пробегает Соля, застегивая на ходу брезентовый пояс — свидетельство его принадлежности к великому сообществу пожарников. Я мчусь вслед за ним, и пыль улицы приятно холодит разгоряченные босые ноги. Мы бежим сломя голову мимо темных домов, мрачных кузен, через мост, в гору. Нас обгоняют люди, и мы обгоняем других. Со звоном, треском и криками проносятся мимо нас пожарные бочки и насосы, взмыленные лошади роняют кремовую пену.



Зарево, навстречу которому мы бежим, растет, уже видны языки пламени, мы одними из первых подбегаем к горящему дому, возле которого бессильно и бестолково хлопочут хозяева. Вместе с другими добровольцами и профессионалами мы снимаем с дрожек насосы, тащим рукава — качальщики уже навалились на брусья помп, пустой плоский шланг толстеет, покрывается проступающими каплями воды — как будто потеет от огромного напряжения — и струя воды с шипением бьет из брандсбойта. Вокруг горящего дома молча стоит пожарная аристократия — топорники. Они крепко держатся за свои топоры, вид у них напряженный, как в театре у статистов, дожидаящихся главного действующего лица, с появлением которого и должно начаться само действие. И вот это лицо появляется. В грохоте, шуме, звоне колокола, в клубах пыли и с горящим факелом подлетает тяжелый пожарный ход, груженный лестницами и баграми. Придерживаясь одной рукой за стойку колокола, во весь свой могучий рост на ходе стоит сапожник Бере-Лейб — начальник пожарной дружины. Он в рваных брезентовых штанах, в туфлях на босу ногу, в нижней, не первой свежести рубашке, перепоясанный пожарным поясом с топором. Но на голове у Бере-Лейба сияет ослепительным огнем каска Тоньки Падзерского, и он кажется богом. «Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры...»

На полном ходу Бере-Лейб соскакивает с дрог, решительным жестом выхватывает топор, подлетает к горящему дому и высаживает оконную раму. Трах-дзинь! — звенят разбиваемые стекла. Это служит сигналом. Топорники с ожесточением — как на штурм осажденной крепости — бросаются на горящий дом. С грохотом сдирается кровля, растаскиваются бревна, разваливается печка — глаза пожарников и их добровольных помощников горят от радости разрушения. Через каких-нибудь полчаса от загоревшегося домишки остается груда бревен и сиротская, неприкаянная печная труба. Закопченный Бере-Лейб водружается на дроги, звенит колокол, и колесница скрывается в клубах пыли. За нею вскачь несутся бочки и насосы, оживленно обсуждая подробности закончившегося действия, расходятся пожарники и любители зрелищ. Хозяева полусгоревшего и полностью разрушенного дома остаются у развалин. Конечно, бывали и серьезные пожары, когда горели улицы, когда опасность была столь велика, что зрелищная сторона отступала на задний план. В пожарники принимали с семнадцати, и я с тоской думал о том, сколько мне еще нужно ждать, пока я надену широкий брезентовый пояс с крюками и кольцами — как равный среди равных...

Вспоминая разные увлечения, удивляюсь своей необыкновенной настойчивости. Я был энтомологом — и квартира наша была завалена толстыми томами книг о насекомых, а мама не знала, куда деваться от жуков и бабочек, аккуратно наколотых на шипы барбариса (булавок не было). Я увлекался ботаникой — и пропадал все дни в лесу, изводил все тетради и старые газеты на гербарий. А моя охота за почтовыми марками принимала угрожающий характер: я способен был пройти в соседнее местечко, чтобы обменять дубликат на ценную надпечатку. Даже остыв к своим увлечениям, я должен был обязательно довести дело до конца — я не переносил, да и сейчас не переношу неоконченного, висящего надо мной дела.

21969 19



## ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДЕТСТВО

**М**ое детство было «очаровано» лесами. Темный лес вокруг Горок, муромские леса вокруг Касимова — нет, по-моему, в мире лесов подобной красоты и какой-то расположенности к человеку. То светлые, то темные, дубовые, березовые, разнохвойные, липово-ясеневые, кленово-осиновые... Весной шагаешь по ландышевым зарослям, а летом оставляешь кровавые следы на полянках, густо заросших земляникой. А черника, а лесная малина! Лес нас летом подкармливал. Земляника с молоком была нашей обычной пищей, и кроме того, собранные нами землянику, малину, грибы мама продавала или обменивала на крупу. Леса моего детства были наполнены запахами и звуками. Днем — ландыши, жасмин, липа, еще какие-то неведомые запахи неведомых цветов, к вечеру лес залит одуряющим запахом ночной фиалки и полон птичьим щебетанием. Мы довольно быстро научились отличать пение малиновки от веселых рулад щегла.

Но настало время, когда я возненавидел лес. Правда, это был совсем другой, северный лес. Хвойный, мрачный, заболоченный и совершенно мертвый. Здесь никогда нельзя было услышать даже писк птицы — тут нет певчих птиц. А тетерева и перепелки — молчат, как будто догадываются, что любой человек хочет их убить. И редкие северные цветы не имеют запаха. И лес этот — место не радости, а каторжного труда. За долгие годы жизни в северных лесах он стал для меня не лесом, а делянкой, лесосекой. Вглядываясь в стройные, медно-красные сосны или высокие мохнатые ели, я не думал об их красоте, а почти автоматически прикидывал: а сколько в этом дереве фес-метров и сколько может из него выйти отрезов деловой древесины?.. И в тот короткий перерыв между двумя лесными лагерями, когда я поселился в Ставрополье, мне нравилось, что вокруг бескрайняя ровная безлесная степь.

К живому лесу я стал медленно привыкать, лишь когда вышел на волю. Наверное, это случилось со мной в маленьком лесном Переделкине. Там я заново познакомился со старыми дубами, молоденькими березами, краснолиственными кленами и душистыми липами; там я снова стал наслаждаться птицами, и с Рикой мы уносили из столовой масло, чтобы кормить на подоконнике нашей комнаты синиц, клестов и даже пестрых дятлов. И снова стал лес одним из источников моих радостей. В зарубежных поездках я восхищался суровыми лесами Палестинской Самарии и пленялся дубовыми лесами Англии. А может быть, и мертвая северная тайга сейчас показалась бы мне другой и я нашел бы в ней жизнь, красоту и величие? Я думаю, что совершенно нормальные люди возненавидели бы пальмы Калифорнии и Флориды, если бы им приходилось за колючей проволокой превращать эти пальмы в товарные изделия...

Но вернемся к Горкам.

Какое бы большое значение я ни придавал нашей грибозаготовительной деятельности, она не могла вытащить нашу семью из крайней бедности, почти нищеты. Отец не мог найти постоянную работу, потому что ни одного государственного предприятия в городе не было. А хозяева воскресающих в этот первый год нэпа маленьких заводиков не были расположены брать такого рабочего, как мой отец. Очень ему было трудно, и — как тогда в отчаянье от потери обуви для детей — он прибег к помощи своего племянника Израиля. Израиль тогда работал в Москве, в Военной Академии. Он написал отцу, чтобы они с Солей, который уже кончал школу, ехали в Москву и устраивались там на работу. Он прислал им деньги на дорогу, и снова наша семья стала перед перспективой новых и больших перемен.

Я подхожу к периоду, когда во мне стал совершаться какой-то внутренний перелом. Вероятно, именно в это время я стал взрослеть. Незаметен, порой почти неуловим тот рубеж, который отделяет детство от отрочества, отрочество от юности, юность от зрелости... О том, что этот рубеж пройден, больше догадываешься по внешним признакам. Но в этом незаметном и непрерывном процессе возмужания, взросления, старения всегда участвуют какие-то факторы, служащие своего рода катализаторами.

Вот таким катализатором для меня был отъезд Соли в Москву. В отроческие и юношеские годы очень крепкие узы связывали меня со старшим братом, они были крепче и глубже обычных родственных уз. Нас разделяло три года — это очень много в том возрасте, о котором я сейчас рассказываю. Но эта разница сглаживалась каким-то большим сходством, разумеется, не только внешним. Мы оба любили книги, людей, и часто не только одинаково, но и одинаковых. Наша активность устремлялась в одну и ту же сторону, и многие годы — случайно или сознательно? — я шел по дороге, проторенной Солей. Соля был лидером в учкоме и в школе — я стремился к тому же и достиг этого. Соля стал комсомольцем — и для меня кимовский значок стал не только идеей, но и идеалом. Я поступил в тот же институт, где учился Соля. Долгое время мы с ним состояли в одной комсомольской ячейке, и меня приняла в партию та же партийная организация, которая двумя годами раньше принимала в партию Солю. Соля был пионерским работником — я принял пионерский отряд, где до меня он был вожатым.

Мой старший брат не утратил своего обаяния даже в старости, наступившей его раньше времени. Но еще более обаятелен он был в юности. И это неудивительно. В юношеские годы даже отрицательные черты характера могут выглядеть красиво: неумение ясно и разумно осмысливать явления кажется импульсивностью и горячностью; безволие и оппортунизм — мягкостью; упрямство — принципиальностью; душевная лень и эгоизм — деликатностью.

Но я немного отвлекся от своего рассказа. Солю очень любили его многочисленные друзья. Я гордился им, когда видел, как оживает молодежь в его присутствии, с какой радостью его встречают, с какой любовью к нему прислушиваются. Все юношеские романы Соли и его друзей проходили на моих глазах, и мне даже нравилась тогда способность брата избегать прочных увлечений, остерегаться зарождающейся любви. Я тогда еще не понимал, что люди чаще бегают от счастливой любви, нежели от несчастной, и что это качество вовсе не украшает человека... Одним словом, круг людей, любивших Солю, был велик, и когда он уехал, я — неожиданно для самого себя — стал наследником этой любви. Очевидно, не только мое родство с ним, но и большее внешнее и внутреннее сходство способствовало тому, что Солины друзья на меня переносили свою симпатию, привязанность и любовь. Я был еще совсем мальчишкой, но девушки, увидев меня, радостно ко мне бросались, интимно брали под руку и, спрашивая о пустяках, задумчиво и грустно вздыхали.

Я, конечно, понимал, что вздохи эти относятся не ко мне, но принимал такие необычайные знаки внимания как должное и само собой разумеющееся. Но если к вздохам девушек я был совершенно равнодушен, то внимание Солиных друзей и их желание привлечь меня в свою компанию вызывали во мне неподдельную гордость. Братья-силачи Борис и Глеб Селезневы приглашали меня участвовать в вечерних налетах на чужие сады, вместе с ними и Лекомом я ходил купаться на Проню, прогуливался вечерами по парку, пел грустные и веселые студенческие песни поздно ночью на крыльце дома фотографа Ариэля. Я понемногу отдалялся от своих сверстников и одноклассников, и этому способствовало не только мое вовлечение в компанию старшего брата, но и то, что я весь был устремлен в будущее, неизвестное, но прекрасное.

Я рассказывал о своем старшем брате, не собираясь хоть как-то подытоживать его жизнь. До итогов было далеко, ему еще предстояло прожить почти сорок лет. Но уже почти четыре года, как его нет, и мне, очевидно, следует продолжить и закончить рассказ о его жизни.

Среди всех нас четверых братьев он был самым удачливым, единственным, кто сделал карьеру, вызывал почтение знакомых, радость и гордость родителей. В тридцать пять лет он стал доктором наук и самым молодым профессором Московского университета. Вероятно, он был хорошим преподавателем, потому что его любили не только студенты университета, но и элитно-серьезные ифлийцы. И был он знатен и богат, и одним из первых получил Сталинскую премию первой степени... После апреля тридцать восьмого года я больше уже не видел своего отца, умершего в 1942 году в эвакуации, в маленьком татарском городке Билярске. Но мама рассказывала, что до конца жизни он не расставался с толстой, в красивом переплете книжкой, на обложке которой золотыми буквами значилась фамилия автора: «Профессор И. Разгон». Слава Богу! Хоть он один из нас четверых вознаграждал наших родителей за их любовь, заботы, надежды... И я без всяких колебаний прощаю ему то, что не оказался он хозяином своего таланта, своей жизни.

У него не было способностей ученого-исследователя, а был талант учителя. В нормальной, хорошей средней школе Соля — преподаватель истории — пользовался бы большой любовью своих учеников. Он умел протя-

гивать какие-то осязаемые нити между собой и учениками, он не вещал, а просто и очень интересно рассказывал. В Московском и Томском университетах, где прошла почти вся его жизнь, он оставил после себя добрые и даже сентиментальные воспоминания.

«Никогда не позволял себе плохого и злого, — вспоминали его ученики. — Увлекательно рассказывал, но никогда не требовал от студентов ни точных формулировок, ни необходимых, по тем временам, слов...»

Успехов в жизни, карьеры, известности он достиг в большой мере потому, что со студенческих лет оказался прицепленным к паровозу, который уверенно тащил его в гору. Паровозом этим был его учитель и старший друг Исаак Израилевич Минц. Это был очень способный, даже талантливый человек, большого ума и малой совести. Он был намного старше Соли, и несмотря на то, что в гражданскую войну комиссарил, размахивал шашкой и вообще геройствовал, стал цивильным, образованным человеком: хорошо знал английский, любил и знал литературу, благодаря удивительной памяти помнил многое из русской поэзии и после бутылки коньяка мог читать наизусть половину Пушкина, включая полностью «Евгения Онегина». Был превосходным и остроумным лектором. Понимаю, как он подействовал на романтическую душу начинающего историка.

А жизнь Минца, дожившего в почестях до глубокой старости, была удивительной. Он был создателем всех вариантов советской истории. Благодаря уникальной способности улавливать настроение самого высокого начальства, он понимал, какая история нужна. И сочинял ее. Сначала — историю гражданской войны, очистив ее от имен тех, кто в этой войне руководил и победил: от Троцкого и всех его сподвижников. Минц вычеркнул из истории перешедших в Красную Армию царских генералов и командармов, бывших в прошлом сапожниками и портными в еврейских местечках. Минц создал и возглавил большое учреждение — Главную редакцию истории гражданской войны, а мой брат стал его заместителем и вторым специалистом по историческому мифотворчеству. Теперь история выглядела так, как надо. И исход гражданской войны решался не в Свижаевске, где Красная Армия, возглавляемая Троцким и Смильгой, не дала



соединиться войскам Деникина и Колчака, а в находившемся на периферии войны Царицыне, в котором командовали Сталин и Ворошилов, чтобы затем тихо оставить этот никому не нужный город.

Потом Минц сочинял все остальные периоды советской истории, начиная с 1917 года и кончая «главной и решающей» судьбу второй мировой войны героической битвой на Малой земле под водительством полковника Брежнева... Ну, словом, был он богат, славен и знаменит, а вместе с ним и мой брат. Но не все коту масленица... В тот самый маленький кусочек воли, которую мне судьба подарила между двумя лагерями, когда я нелегально приехал в Москву, мой знатный брат меня с любовью привечал, водил в рестораны, где я гулял с ним и его шефом, который в застолье был свойским и симпатичным мужиком. Однажды, будучи совершенно раскованным, то есть находясь в сильном подпитии, я сказал двум известным историкам:

— Скоро вас — и тебя, Соля, и вас, Исаак Израилевич... — я очень грубо, на хорошо мне знакомом лагерном языке сказал, что с ними будет.

— Это почему же? — взвился мой брат.

— А потому, что у вас до фига учеников, вы их всех научили, что и как надо делать, и больше не потребуетесь. Вот вас и...

Кажется, они мне простили мою горячность. Хотя Минц не кипятился, в отличие от Соли, а загадочно промолчал... Но я как в воду глядел.

Когда цунами антисемитского иступления смывал моих родных и знакомых, а я от этого бедствия отсиживался в тихой гавани Усольлага, мне попался уже старый номер «Правды» с подвалом под громким названием «Лжеученый». Героем статьи оказался мой брат, которого самыми непристойными словами ругали за искажение истории гражданской войны на Северном Кавказе. Наверное, не спросясь Минца, он написал все как есть: что больше всего в гражданской войне большевикам помогали чеченцы, ингуши, балкарцы, калмыки, адыгейцы, еще кто-то из горских народов. Ну откуда мой бедный брат мог знать, как за помощь большевикам им отплатит самый главный большевик!.. Ведь все они во время и после

войны с Германией были выселены, преданы позору и разграблению. Небось, Минц бы так не написал.

Разгром исторического факультета Московского университета во время борьбы с «космополитизмом» был очень шумным, мне о нем рассказывали многие — только брат мне об этом никогда не говорил. Хотя ему не надо было бы и краснеть. Я узнал обо всем от очень объективного свидетеля — Некрича, который описывает в своей книге, с каким садистским наслаждением заставляли известных ученых — занимались ли они советской историей или же положением английских крестьян в XIV веке — каяться, просить за что-то прощение, отказываться от учителей, проклинать учеников... И с удивлением пишет летописец этого проклятого времени, что лишь несколько человек упорно не желали признавать свои тяжкие и позорные прегрешения. И в их числе мой брат.

Впрочем, и тут ему, очевидно, «паровоз» помог. Конечно, и Минца и Солю с треском выставили из Моековского университета. Но ведь не на Колыму! Минцу тут же в Москве дали кафедру в Педагогическом институте, а брата моего отправили в Сибирь. Но не в деревню Красноярского края, а в Томск — заведывать кафедрой старейшего сибирского университета, где он и проработал около тридцати лет, до самой своей смерти. Лишь один раз, во время хрущевского, еще восторженного «реабилитанса», он дал себя уговорить и вернулся в Москву. Но через несколько месяцев уехал снова в Томск.

— Понимаешь, — говорил он мрачно, — как же мне тут жить и работать? Друзья — трусы, ученики — предатели...

Он лучше чувствовал себя в Сибири. Там он создал «сибирскую школу», наплодил множество учеников из многообразных русских и национальных окраин Сибири; разрабатывал малоизвестные и нетронутые еще архивы; был в Томске председателем Исторического общества, популярнейшим лектором и вообще городской достопримечательностью, ибо — как почти все Разгоны — любил употреблять горячительные напитки, а во хмелю был шумен и дерзок. Даже в лигачевской вотчине это

ему сходило в рук — настолько он был популярен. Конечно, его ортодоксально-большевистское прошлое сказывалось и тут. Он ненавидел «областников», и конечно, Потанина — кумира всей сибирской интеллигенции, возмущался тем, что в университетском парке стоит ему памятник. А этот благороднейший, удивительно чистой жизни ученый принадлежит к числу моих любимейших людей прошлого века, и я о нем написал очерк. Соля за это на меня набылся, но не спорил. Вообще, он со мной никогда не спорил и даже не орызался, когда я его тыкал носом в содеянное им.

Сейчас, когда его нет, мне грустно думать, что в нашей взрослой жизни я был к нему недостаточно внимателен и часто несправедлив. Он прощал мне мое ироническое, иногда даже пренебрежительное отношение к делу всей его жизни, мое высокомерие, основанное лишь на чистой случайности: меня посадили, а его не посадили... Я о нем часто думаю и вспоминаю не его конформизм, не его подозрительно быструю карьеру. Да ведь он был хорошим человеком, в нем было такое, что не давало ему стать обычным советским ученым холуем!

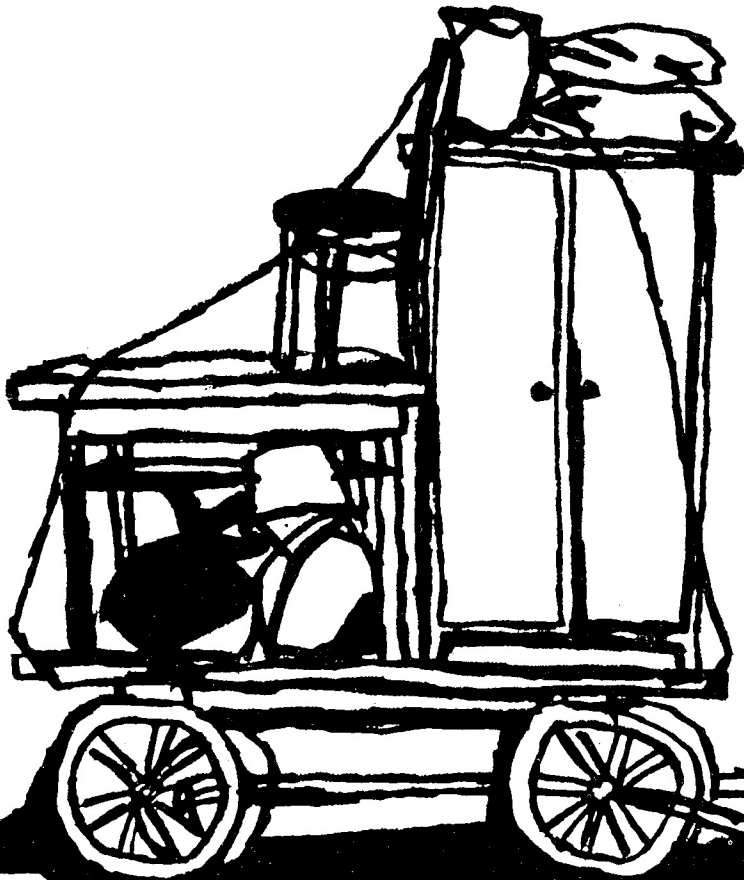
Прежде всего, это сильное чувство собственного достоинства. Он никому не позволял наступить на свою личностную сущность. И больше всего это относилось к его еврейству. Он любил свое местечковое еврейское прошлое, чтобы переписываться с мамой, он еще студентом научился писать по-еврейски. У нашего отца — как это часто встречается у евреев — было два имени: Мендель-Эммануил. Мне второе имя отца показалось более привлекательным, и я стал Эммануиловичем. А Соля, всегда гордясь своим родом, своей фамилией, назывался Израилем Менделевичем. Он знал множество еврейских народных песен и в частых застольях мог часами петь их. Эту слабость знали все его ученики и научились дружно ему подпевать. И сейчас, когда в какой-нибудь Бурятии или Ханты-Мансийске узкоглазый доктор исторических наук, приняв изрядную дозу «огненной воды», начинает петь: «Хацкеле, Хацкеле, шпиль мир а казашкеле<sup>1</sup>...» — то уже всем становится ясно: это ученик профессора Разгона...

---

<sup>1</sup> Хацкеле, шпиль мир а казашкеле — Хацкеле, спой мне казашкую песню.

Нет, мой сибирский брат не укоренил в Сибири наш род, не пустил ветвь, как это случилось с нашей родовой ветвью, распустившейся в Америке. Одинокая его могила осталась на Томском кладбище, а его единственный сын, унаследовавший от него любовь к истории и тоже ставший доктором наук и профессором, отправился доживать свой век в далекий и чужой всем нам Лос-Анджелес. И некому навестить в Сибири могилу моего брата.

заба 20



## И НАЧИНАЕТСЯ МОСКВА

**Н**аступил 1923 год — второй год нэпа. Горки были весьма глухим местом и в самые бурные годы революции. Но все же это были годы перемен, исполнения самых дерзких мечтаний, которые казались безграничными. Однако скоро стало ясно, что положение молодого поколения вовсе не такое уж радостное. Молодежь кончала школу, и надо было выбирать дальнейший путь. В Горках был большой сельскохозяйственный институт, но сверстникам Соли не хотелось получать высшее образование в родном городе, надоевшем и скучном. Все их мечты и порывы были устремлены к большим, кипучим городам, и прежде всего к Москве. Москва, жизнь и учеба там были заветной, но трудно осуществимой мечтой большинства моих друзей. А вот для меня она с каждым днем становилась все более и более реальной. Отец устроился рабочим на военный склад в Москве, где-то начал работать и Соля, им обещали квартиру, было уже точно известно, что летом Соля приедет за нами и мы переедем в Москву.

Москва — одно только прочитанное это слово, в книге, газете, объявлении, волновало меня. Я мог часами рассматривать рисунок в старом школьном учебнике с изображением Красной площади, я рисовал в своем воображении людскую толпу на площади, и, конечно, в этой толпе я видел себя...

И даже жаркое, чудесное горькое лето перестало меня радовать. Холодными глазами я отчужденно глядел на жемчужную от утренней росы траву, на сады, полные зреющих плодов, на зеленую Проню — нет, я уже был не здесь. Я еще не оставил Горки и свое детство, но весь я уже был в Москве, в своем будущем — непременно ярком и необычном. Письма Соли с объяснениями причин задержки нашего отъезда, с восторженным описанием Москвы, доводили меня до слез. Я убегал в дальний угол огорода и там между лопухами и бузиной, кусая рукав куртки, ревел от невозможности приблизить минуту отъезда.

Но все же она наступила, эта минута. Приехал Соля, и его нескрываемая радость от встречи с родным городом и друзьями, на мой взгляд, совершенно не соответствовала его эпистолярным восторгам от московской жизни. Соля вовсе не стремился при-

близить час отъезда из Горок. По ночам он пропадал с друзьями в парке, а днем отсыпался, и мама охраняла его покой от друзей, заявлявших свои права на все двадцать четыре часа Солиных суток.

Я, конечно, принимал активное участие во всех мероприятиях, в которые вовлекали Солю его горецкие товарищи: вместе с ним мы залезали в сады, катались на плоту, разучивали новые московские песни, привезенные братом. Девушки наслаждались «Кирпичиками», а я до безумия пленился песней, которую впервые тогда услышал: «По морям, по волнам, нынче — здесь, завтра — там...».

«Нынче — здесь, завтра — там...» — что может быть лучше этого? Сегодня я здесь, а завтра буду уже далеко-далеко отсюда — в новых местах, с новыми людьми.

Вот в таком настроении я и расстался с Горками, со своим детством и поехал навстречу будущему. «Нынче — здесь, завтра — там...»

И вот она — Москва. Нагруженные скарбом, мы идем по перрону Александровского вокзала, через какую-то калитку выходим на широкую булыжную площадь. Отец нанимает извозчика, грузит вещи, усаживает маму с Абрамом. Соля, Илюшка и я идем пешком. Новый бюджет нашей семьи еще не в состоянии выдержать даже такие расходы, как проезд в трамвае. Соля с видом старого, прожженного москвича ведет нас по улице, такой длинной, что ей, кажется, нет конца.

Значит, я — в Москве. В том новом и необычном мире, о котором столько мечтал. Все непривычно моим глазам: витрины магазинов, трамваи и пролетки, автомобили — за один только квартал я насчитал их пять штук. И люди все куда-то спешат: женщины в коротких до колен юбках и огромных шляпах; мужчины в плоских соломенных шляпах, на светлых рубашках вязаные галстуки, брюки у них короткие, суживающиеся конусом книзу.

Мы идем долго, через всю Москву, и я узнаю знакомые с детства по картинкам места. Вот напротив кирпичной громады Страстного монастыря — памятник Пушкину; вот Иверская маленькая часовня со звездами на голубом куполе, в темной ее глубине мерцание свечей и ладанный дым, на паперти толпа нищих хватает за полы богомольцев. И вот я — на Красной площади. Едут трамваи, цокают по булыжнику извозчики, спешат люди — все они на этой площади кажутся маленькими, настолько она громадна. Но я не успеваю разглядеть ее как следует. Мы идем

быстро, Соля устал рассказывать, молча проходим по Москворецкому мосту, узкому и шумному Балчугу, проходим еще один мостик, сворачиваем направо мимо фабрики церковных свечей и вступаем на тихую улицу. Сначала пыльная и грязная, она с каждым шагом становится все красивее, липы, растущие по краям тротуара, сладко и одуряюще пахнут — совсем как в нашем парке в знойный день. Мы уже очень устали, когда Соля открыл зеленую калитку во двор, наполненный зеленью, — совсем непохожий на городской двор в моем представлении. Это дом № 52 по Большой Ордынке, тот самый, в котором прошла моя юность.

Я так надеялся, что у меня будет много времени впереди, поэтому редко вспоминал наш дом, нашу улицу. Эту улицу никак нельзя отнести к малоизвестным московским адресам. В школьных учебниках объясняется ее название: это была древняя дорога, ведущая в Золотую Орду. В те далекие годы в Толмачевском переулке жили толмачи — переводчики. Позже Ордынка стала стрелецким гнездом: в ее слободах обосновались стрельцы. По фамилии одного из них — полковника Пыжова — называется хорошо знакомый мне переулок, а церковь Николы в Пыжах напротив этого переулочка — это старинный храм стрелецкой слободы. В прошлом веке обе Ордынки — Большая и Малая — стали цитаделью купечества. И нам легко себе представить, что смешные и трагические события, описанные в пьесах Островского, происходили в домах, сохранившихся на нашей улице до сих пор. Но не только купцы селились на Большой Ордынке. Жила здесь и интеллигенция, а в начале века даже великая княгиня Елизавета Федоровна — родная сестра последней русской императрицы, бывшая замужем за дядей царя Сергеем Александровичем — жестоким и извращенным человеком, убитым Каляевым в 1904 году. На Ордынке она построила Марфо-Мариинскую обитель, в которой сама была настоятельницей. Дворец Елизаветы Федоровны стоял на углу Толмачевского переулочка — в 1941 году его уничтожила немецкая бомба. А от Марфо-Мариинской обители сохранились красивые деревянные резные ворота и прелестная церквушка в стиле московских церквей XIV века — одна из лучших работ Щусева.

Дом № 52 был типичным старомосковским домом. Хозяин его — врач и черносотенец Глаголев — был одним из столпов «истинного русских людей» в Москве и не любил новшеств. И дом он себе построил по старинке: деревянный, из дубовых бревен, хорошо оштукатуренный, с мезонином, парадным крыльцом, выходящим во двор. В доме не было ни канализации, ни водопровода, единственный колодец во дворе не действовал, и мы таска-



ли воду из водоразборной колонки на Серпуховской площади. Зато во дворе был густой чудесный сад — с плодовыми деревьями, кустами малины, смородины и крыжовника, особенно много было сирени. Но первое время мы мало пользовались этими прелестями. Я считал, что приехал в Москву не для того, чтобы умиляться сирени и яблоням, их я без малейшего сожаления оставил в Горках. Все мое внимание занимала другая, настоящая Москва: Москва — город, Москва — столица страны. Наши снисходительные родители предоставили нам полную свободу, и почти все дни у меня проходили в знакомстве с Москвой: я ее читал, как интересную книгу — медленно и с наслаждением.

Единственным путеводителем по Москве служил мне старый план города, вырванный из книги «Вся Москва» за 1913 год. С вечера я намечал себе на этой карте улицы и площади, где я еще не был, и утром отправлялся в поход, сунув в карман лопот ситного хлеба. Огромное, ни с чем не сравнимое чувство свободы владело мною. Никого я не знал в этом городе, никто меня не знал и никто не обращал на меня внимания. Москва того времени мало походила на чинную, строгую столицу. Не только люди, но и извозчики, и редкие автомобили шли, ездили куда хотели и как хотели. Пьяницы пили водку, усевшись прямо на тротуаре, и прохожие их обходили, как нечто постороннее, но совершенно естественное. В огромных черных котлах для варки асфальта сладко спали беспризорники; их товарищи на перекрестках, аккомпанируя себе деревянными ложками, пели жалобную песню «Позабыт, позаброшен с молодых, юных лет...». Валютчики и спекулянты без стеснения и опасения продавали свой товар всем желающим, и какие-то выродки благородной букинистической профессии истошно орало: «Сто анекдотов о том, что делает жена, когда мужа нет дома — вместо рубля только за двадцать копеек!».

1923 год был годом расцвета нэпа — фантастического времени, о котором нынешнее поколение не имеет совершенно никакого представления. Короткие строки из учебника истории не в состоянии сколько-нибудь достоверно показать ту странную, непривычную и непонятную атмосферу, в которой мы тогда жили. Там, где сейчас высится здание Зала имени Чайковского, находилось официальное казино с рулеткой, с «золотым столом», где карточная ставка была не меньше червонца. Это было время, когда Ярон был не только артистом московской оперетты, но и ее хозяином; когда пивная «Пушкин» напротив памятника поэту была общеизвестным и почти официальным клубом московских воров; а Марьяна Роща славилась не теперешним огромным уни-

вермагом, а фальшивомонетчиками и изготовителями поддельных документов.

Еще кое-где в облике Москвы сохранились остатки романтических дней революции. Олицетворением этой романтики был памятник первой советской конституции напротив Моссовета — Памятник Свободы, как его называли. Прекрасная, с сияющими глазами женщина в развевающихся одеждах, с крыльями за спиной, бережно держа в руках земной шар, несется с ним вперед. Я любил эту прекрасную андреевскую скульптуру, она казалась мне олицетворением неопределенных и волнующих мечтаний, владевших мною тогда. Революция тогда еще была жива в целостности своего порыва. Будущие историки, отделившие впоследствии козлиц от овец, чистых от нечистых, еще были мальчишками. На обелиске в Александровском саду в списке «революционеров мысли» числятся, наряду с Марксом и Энгельсом, Плехановым и Бебелем, Кропоткин и даже Прудон. На Пречистенском бульваре на стене двора Реввоенсовета сквозь свежую побелку проступали фамилии тех, кого романтики 1918 — 1920 годов занесли в списки революционеров. Демулен и Дантон стояли там в одном ряду с Володарским и Урицким, а Комиссаржевская и Скрябин — с Каляевым и Сазоновым. Еще не заштукатурены были следы октябрьских пуль на домах Арбатской площади и Никитских ворот, в трамвайной мачте на Страстной площади еще зияло отверстие, пробитое снарядом, выпущенным большевистской пушкой, обстреливавшей в дни Октября дом князя Гагарина. Но все эти следы недавних дней и лет терялись в реальной жизни столицы — Красной Москве.

Как быстро воскресли из небытия эти бывшие купцы, фабриканты, коммивояжеры, владельцы ресторанов, кухмистерских, пансионатов, лавок, лавчонок и ларьков... В каких норах они отсиживались в суровые революционные годы, каким нафталином сохранили свой облик? Теперь они почти вернули Москве ее прежний вид. Снова на кафелях молочных ярчайшим ультрамарином была выведена фамилия Чичкин; снова Охотный ряд стал почти таким же, каким его описал Боборыкин; снова появились толстозадые лихачи у воскресших ресторанных заведений, открывшихся в тех же старых стенах с теми же старыми названиями: «Трактир Тестова», «Мартьяныч», «Медведь», «Яр»... Государственные и кооперативные магазины казались затерявшимися островками в море кофекционов Жильцова и К<sup>о</sup>, бакалейных Капустина с сыновьями, пивных Карнеева и Горшанова. Даже дрова и уголь в Москве стали монополией нэпманов, и огромная вывеска «Яков Рацер» красовалась на заборах топливных складов, на фургонах, развозивших дрова, на пакетах с углем для самова-

ров и утюгов. Асфальт, по которому ходили москвичи, — и тот был частнокапиталистического происхождения, а медные дощечки, вделанные в тротуары, гордо сообщали, чей это асфальт.

Не только в торговле, и в промышленности воскресло старое. Даже в издании книг огромная доля принадлежала таким издателям, как Столлер, Мириманов, Антик. В киосках продавался толстый журнал «Новая Россия», на обложке которого стояло: «Беспартийный литературный и общественно-политический журнал». На его страницах сменовеховцы Устрялов, Лежнев, Бобрищев-Пушкин по-кадетски изящно полемизировали с решением XIII съезда партии, а Михаил Булгаков печатал свой роман «Белая гвардия».

Необыкновенно дешева была жизнь тогда: фунт хлеба стоил две копейки, и за один рубль можно было унести из магазина кошелку продуктов. Но заработать этот рубль было непросто. Тысячи безработных выстраивались каждый день с утра у Биржи труда в Рахмановском переулке. А рядом была Петровка — улица нэпманов и нэпманш в коротких юбках, подстриженных по-мальчишески, с челкой до самых подведенных глаз, в огромных шляпах. У подъездов ресторанов накрашенные проститутки приставали к прохожим, а по теперешнему мирному Цветному бульвару не рисковал пройти вечером ни один добропорядочный москвич: этот бульвар с прилегающими к нему Сретенскими переулками был огромной «Ямой», страшнейшим притоном проституток и воров.

Ах, с каким же интересом и некоторым недоумением я читаю сейчас эти, написанные в 1952 году, страницы! Значит, еще тогда мною почти полностью владела эта социалистическая ненависть к капитализму, проще говоря, к довольству и изобилию! На нарах, изнывающий от унижительного постоянного чувства голода, мечтающий о куске хлеба и миске баланды, я все еще — как достойный нищий комсомолец двадцатых годов — ненавидел витрины с лоснящимися окороками, с истекающими жиром осетровыми тушами, с вазами блестящей черной икры... И еще не возникали у меня ставшие уже старомодными слова из анекдота: «А кому это все мешало?»

Сравнивая нэп с теперешним разгулом «первоначального накопления», я ценю все преимущества скоротечной попытки восстановить — пусть с фасада — дореволюционное прошлое. Государство еще не стало пол-

ностью не только главным, но и единственным монополистом эксплуатации всего народа, бесчеловечным хозяином всего и всех. Воскресшим буржуям была альтернатива: госторговля, кооперативы. Да и «лицо нэпа» формировалось по старым лекалам. В этом «лице» была еще добропорядочность старого купеческого уклада. И возникшие «рыночные отношения» не были достоянием преступных мафиозных организаций; не было рэкетиров, уличных перестрелок при бандитских «разборках», заказных убийств и похищений заложников... И, конечно, не было ничего похожего на существующее сейчас повальное и безнаказанное воровство, взяточничество, слово «коррупция» было известно лишь немногим журналистам-международникам.

А ведь нэп и описанные мною его приметы вызвали шок у многих умных и талантливых людей. И Хлебников мечтал Пугачевым пройтись по купеческому добру, и Асеев горестно восклицал: «Как я стану твоим, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время!». И надо ли вспоминать других — поэтов, прозаиков, публицистов — которые искренне заламывали руки, как будто еще не высохли реки крови, пролитые в беспримерной по жестокости гражданской войне.

Пишу это не ради того, чтобы оправдать себя — того, наивного, горячо верующего в светлое социалистическое будущее, гордого своими убеждениями и в нищете чувствующего себя намного выше этих — на лихачах с бриллиантовыми перстнями... И ведь действительно был выше! Каким бы глупым ни был. И выше, и лучше. Как и сейчас себя чувствую и выше, и лучше всех этих новеньких миллионеров и миллиардеров, которых дураки или сикофанты стараются выдать за прямых продолжателей Третьяковых и Морозовых, Шанявского и Алексеевых. А они за свои миллионы (очевидно, перекаченные из наших карманов — откуда им иначе взяться?) не построили ни одной больницы, ни одной богадельни, ни одного музея! И тратят свои миллионы на презентации, субсидирование всяких эротических представлений, на издания произведений полиграфического искусства в сотне нумерованных экземпляров и прочую фейерверочную лабуду. Ну, Бог с ними! Будем надеяться, что если их не прихлопнет зловещий зигзаг истории, если не профукают свои только что нажитые состояния, то, может быть, их внуки и правнуки станут цивилизованными со-

стоятельными людьми, к которым отношусь почтительно с тех еще пор, как в детстве прочел «Маленький лорд Фаунтлерой» и толстые романы Диккенса.

Но в год моего первого знакомства с Москвой меня не так уж занимали экзотические картины воскресшего капитализма. Нет, не эту Москву я любил и не эту Москву искал. Маршруты моих прогулок приводили меня в запутанные арбатские переулки, на бульвары, полные играющей детворы. Я стоял во дворе дома на Никитском и касался рукой двери, из которой вынесли в последний путь тело Гоголя. Я сидел у высохшего фонтанчика на крошечном сквере Собачьей площадки и смотрел на дом с колонами напротив: здесь жила Ирина из тургеневского романа «Дым». А налево в одноэтажном домике, занятом керосинной лавкой, жил у своего приятеля Соболевского Пушкин. И именно здесь он писал стихи, которые я так часто повторял про себя. Вот тогда-то и на всю жизнь я полюбил тихую Поварскую, сбегаящие вниз улицы между Мясницкой и Солянкой, извилистые арбатские переулки с мостовыми, заросшими травой, с каменными тумбами на узеньких тротуарах из известковых плит, с одноэтажными домами на фундаментах из дикого камня.

Устав от ходьбы и проголодавшись, я усаживался на тумбу или на паперть какой-нибудь старой церквушки, доставал из кармана ломоть хлеба и, уписывая свой завтрак, с любопытством наблюдал за течением незнакомой мне жизни. Старуха в чепце — прямо с картин Поленова — ведет на цепочке коротконогую, ушастую таксу; две девочки бегут, взявшись за руки, размахивая висящими на длинных шнурах папками с надписью «Мюзик»; старый татарин неторопливо бредет по мостовой с полосатым матрасом за спиной и выводит уныло-тягучее: «Старье бер-е-ем...».

Я совершал многокилометровые прогулки для того, чтобы осмотреть московские монастыри: Новодевичий, Симонов, Данилов, Донской. Я открыл во время этих прогулок удивительные, полные прелести места — старые монастырские кладбища. И любил бродить по их заросшим тропинкам и встречать на гранитных крестах, на мраморных ангелах и урнах фамилии людей, мне знакомых по истории русской литературы, по мемуарам, которыми была богата библиотека князей Дондуковых-Корсаковых. На кладбище Данилова монастыря на большом простом кресте из черного мрамора были вырезаны слова библейского пророка: «Горьким смехом моим посмеются...». А выше стояло имя чело-

века, который был погребен под этим крестом и к которому относились эти скорбные слова: «Николай Васильевич Гоголь».

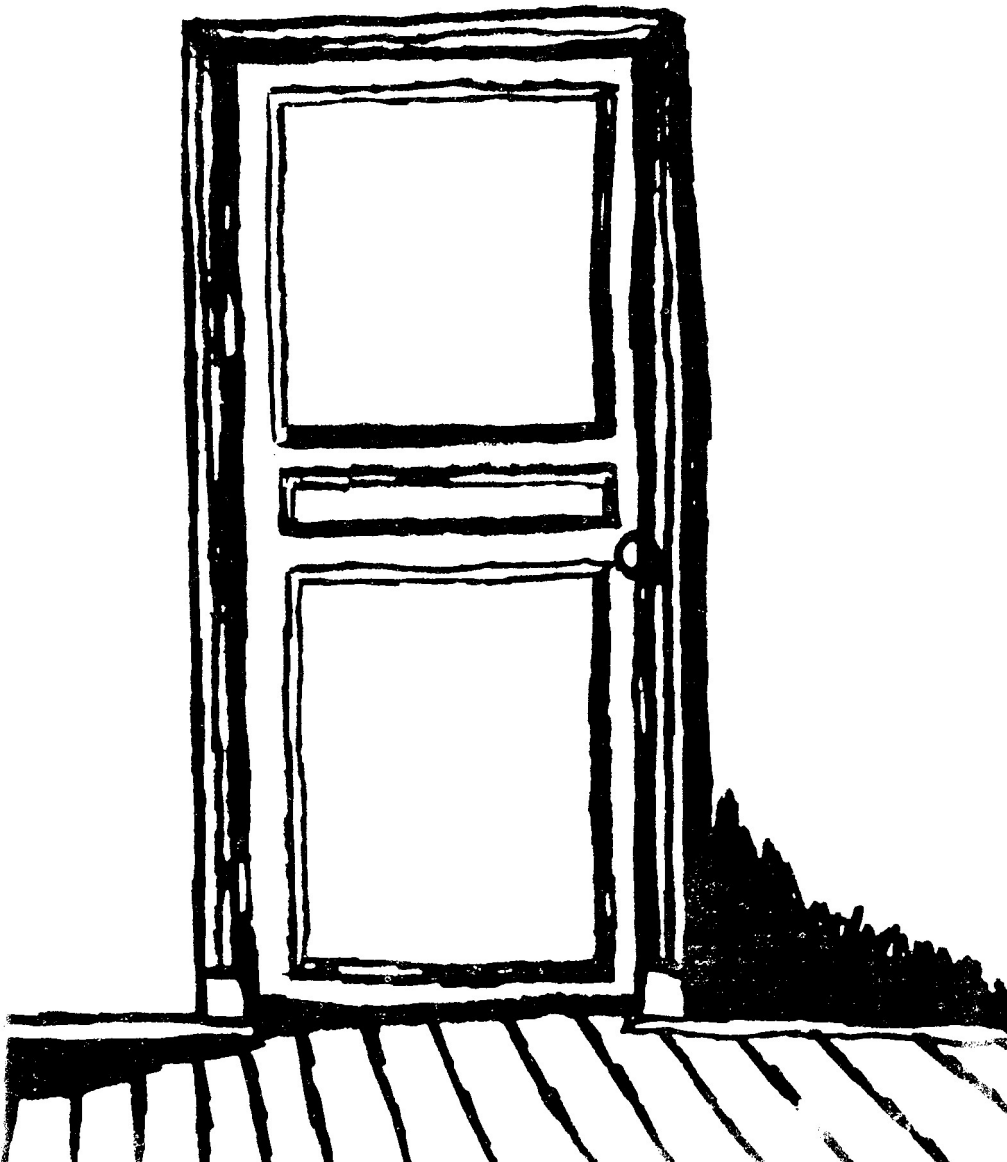
Особенно мне нравилось кладбище Донского монастыря. Здесь давно уже никого не хоронили, оно полностью утратило свое первоначальное страшное значение, заросло сиренью, жасмином, боярышником. Иногда я брал с собой книгу, устраивался поудобней на какой-нибудь могильной плите и — никем не тревожимый — читал целый день. Или же продирался сквозь густую зеленую стену кустов, читая трогательные и смешные стихотворные эпитафии, сочиненные полтора-два столетия назад. Мог ли я думать, что именно здесь, на этом заброшенном кладбище впоследствии воздвигнут первую новостройку похоронной индустрии, что сюда я буду приходить на сожжение своих друзей и знакомых, что здесь я буду хоронить маленькую глиняную урну с кучкой пепла — все, что осталось от самого умного, самого хорошего человека в моей жизни, самого любимого лагерного друга...

И споткнувшись о крематорий на Донском кладбище, не могу не остановиться, не перевести дыхание. С тех пор, как вернулся на волю, сколько же близких, сколько родных людей я проводил в никуда! И среди них самых близких и дорогих, составляющих половину — и лучшую половину — моей жизни. И все же это похожее на вокзал здание — не кладбище, не могила. И эта черная пропасть, куда уходит гроб с телом близкого человека, с его лицом, его руками, — это не то, что Пушкин именовал «отеческими гробами». А настоящая родная могила — крошечный кусочек земли, где захоронена урна с маленькой кучкой пепла. К ней мы стремимся, там проливаем слезу, там происходит непонятное еще духовное соединение с любимым человеком.

«С плача по умершему начинается человек», — сказал еще один мой умерший друг — странноватый, улыбающийся великий философ Мераб Мамардашвили.

И с этим ничего не поделаешь.

21069 21



## И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭПОХА...

**Н**е следует думать, что в первые месяцы моей жизни в Москве я был только беспечным туристом, выискивающим во вкусном городе самые лакомые кусочки. Этого не могло быть потому, что становление нашей жизни на новом месте проходило в трудах и заботах. У нас ничего не было — ни стола, ни стула, ни печки, ни кровати. Купить это все мы не могли и, когда удавалось достать у знакомых стол или кровать, мы их тащили через весь город на руках, потому что у нас не было денег даже на двухколесную тележку — самый дешевый вид грузового транспорта в Москве. Даже кирпичи для печки я перетаскивал с Софийской набережной, где работал отец, получивший разрешение забрать кирпич разрушенной временки. Я приспособил для переноски кирпичей полотняную сумку с ляжкой через плечо и был однажды очень смущен, когда какая-то женщина подошла ко мне на улице и, не говоря ни слова, положила в мою сумку с кирпичом кусок хлеба — она приняла меня за нищего...

Однако приближалась осень, а вместе с ней и учебный год. Я должен был учиться в седьмом классе. Поиски школы не заняли много времени. Напротив нашего дома была школа, и именно туда я подал свои метрики и справку об окончании шестой группы второй ступени. Через несколько дней я был зачислен учеником седьмой группы «Б» школы № 17 имени Бухарина Замоскворецкого района. Это та самая школа, где сейчас помещается Педагогическое училище имени Ушинского. В этой школе я учился и закончил школьный — такой значительный и важный — период моей жизни. Но о моей московской школьной жизни я расскажу в другой раз.

Насколько упоительно было для меня лето 1923 года, настолько же тяжела была осень. Прошли медовые месяцы моего знакомства с Москвой. Она все больше и больше становилась просто городом, в котором я живу, — городом неудобным, не очень уютным, абсолютно равнодушным ко мне. И я понимал



теперь чувство, с которым приехал из Москвы в Горки Соля. Воспоминания о родном городе вызывали у меня такую стесненную грусть, такую горькую отраду, что только стыд мешал мне говорить об этом громко. Когда в Москву приезжал кто-нибудь из горецких, я бежал к ним, не считаясь со временем, расстоянием, степенью дружбы и даже знакомства с приезжими. Конечно, в разговорах с провинциалами я выдавал себя за старого москвича, небрежно рассказывал о чудесах Москвы и снисходительно предлагал свои услуги в качестве гида. Но разговоры о Москве были официальной частью моего свидания с земляками. А самым главным и важным было узнать, кто заменил меня в учкоме, построен ли новый мост через Проню, помирился ли Лешка Плетнев с Ваней Демьяненко — своим вечным соперником по лапте и школьным дракам. Думаю, что когда я расспрашивал об этом, с меня слетала вся моя московская важность и я много терял в глазах своего собеседника.

И хотя язык мой не поворачивался сказать что-либо в осуждение великого города, жителем которого я стал, все больше и больше я находил черт и черточек, разрушавших мои книжные, прочно, казалось, сложившиеся представления о Москве. В магазинах и парикмахерских мальчики — мои одноклассники — открывали двери посетителям, подвигали им стулья, снимали с них обувь перед примеркой. А хозяева и приказчики таскали их за уши, насмехались над ними — совсем как в книгах Диккенса и Горького. Крошечные ребятишки с взъерошенной гривой никогда не чесанных волос таскались по улицам со скамеечкой и парой щеток и ловили желающих почистить сапоги. Молодые девушки в нелепых, безобразных кепи с огромным козырьком — папиросницы от Моссельпрома — продавали на лотках папирасы и безропотно потупляли глаза, когда подгулявшие покупатели одобрительно и поощряюще похлопывали их по щекам: они боялись потерять клиента. Ох, как мне это все не нравилось, как это все не было похоже на то, о чем я мечтал! Кроме того, меня, моих братьев, всю нашу семью совершенно замучил шоколад.

Да, шоколад. Заработка отца не хватало на то, чтобы прокормить нашу большую семью, и мама нашла себе работу — завораживать шоколад. Муж какой-то ее дальней родственницы «вошел в дело», в одно из тех «дел», которыми изобиловало то далекое и невероятное время. На Полянском рынке — маленькой площади, сейчас застроенной большой кирпичной школой — в одном из старых кокоревских домов группа предприимчивых дельцов открыла кондитерскую фабрику. Она называлась МАДЭК — по

первым буквам фамилий пяти компаньонов. Третья буква в этом звучном и непонятном названии означала «Двойрин» — фамилию маминного знакомого. Фабрика, выпускавшая продолговатые шоколадки в пестрых обертках, была типичной нэповской липой. «Шоколад» представлял собой самую обычную глюкозу, варившуюся с патокой и небольшим количеством какао-масла — для шоколадного запаха. Для того, чтобы избегнуть большого налога, владельцы фабрики ограничили контингент рабочей силы на своем предприятии тремя рабочими, все остальное делали «надомницы» — знакомые и полужнакомые женщины, бравшие на дом нарезанные груды глюкозы и превращавшие их в красивые, яркие шоколадки. Вот такой надомницей и стала мама. Каждый вечер она с моей и Илюшкиной помощью притаскивала домой тяжелые фанерные подносы с этой проклятой глюкозой, и до поздней ночи наша семья завертывала коричневые плиточки в блестящую свинцовую фольгу, обклеивала их картинками с изображением солдатиков, барышень и прочей мурлы.

Глюкоза была невкусная, приторная, от нее болели зубы и ломило челюсти: с удивлением и отвращением я смотрел, как эта мерзость раскупается с лотков и поедается как лакомство. О, эти длинные и утомительные вечера, целиком отданные унылому, скучному, бездарному занятию! Мама, Илюшка и я сидим за большим столом, заваленным грудой липового шоколада. Руки, ставшие противно липкими, автоматически и устало заворачивают продолговатые плитки в нарядные бумажки. Еще одна, еще одна, еще десяток, еще десяток... Мама пытается поднять наше настроение интересными рассказами, даже песнями. Но и рассказы слушаются плохо, и песни не поются — настолько муторен и невкусен наш труд. Впрочем, ему я был обязан своим первым чисто московским знакомством. Я обзавелся приятелем, Сеней Двойриным — сыном нашего работодателя. Он был на год-два старше меня и, очевидно, мне крайне импонировал тем, что родителей своих ни во что не ставил, ругал их нэпманами и вел себя весьма самостоятельно.

Сеня был музыкальным вундеркиндом. Это значит, что он носил бархатную толстовку, длинные волосы, ловко играл на рояле и был неограниченным тираном в своей семье. Впрочем, Сеня действительно был очень одаренным мальчиком, в другой среде и в другое время из него, пожалуй, вышел бы настоящий музыкант. Сеня любил музыку, он мог часами играть на фортепьяно и даже недурно сочинял, удачно имитируя модные песенки Блантера и Хайта, которые тогда не писали патристических маршей и народных песен, а сочиняли экзоти-

ческие танго и креольские песенки, выходявшие в «Издании автора» на потребу тогдашней публике. Первый раз в жизни я видел человека, сочинявшего музыку. Я рылся в сборниках старых поэтов, выбирал стишки, казавшиеся мне подходящими, а Сеня враз сочинял к ним музыку. И когда я слушал, как Сеня, подняв глаза к потолку и меланхолически себе аккомпанируя, поет свой новый романс на слова А.К. Толстого: «Ты помнишь ли, Мария, один старинный дом и липы вековые над дремлющим прудом...» — мне казалось, что я присутствую при создании великого произведения и даже сам к этому причастен.

Впрочем, честности ради, следует сказать, что не одной музыкой меня соблазнял мой новый приятель. Так же, как и я, он любил слоняться по Москве, совать нос во все места, где мы еще не были, даже туда, куда не следовало бы соваться гражданам нашего возраста. Сеня всегда придумывал что-нибудь интересное, и наши парные прогулки были более разнообразными и веселыми, чем мои одинокие. Выяснилось, что МАДЭК выпускал и настоящий шоколад, да еще с орехами. Арсений набивал карманы лущеными орехами, плитками настоящего шоколада. И я подозреваю, что он пускался с ними в коммерческие операции, ибо у него всегда были деньги в количестве, достаточном для того, чтобы ходить в кино, пить в буфетах сидро и даже покупать для шика папиросы «Зефир». Я приходил к нему, как только избавлялся от школьных и домашних дел, мы с часик занимались музыкой, и Сеня покорно играл мои любимые пьесы. После этого он оставлял меня и совершал набег на фабрику, приходил с оттопыренными карманами, в течение пятнадцати-двадцати минут разоблачал буржуазные взгляды своей сестры Жени и, благополучно доведя ее до слез, победителем выходил вместе со мной из дома.

Мы ходили по бульварам, рассказывая друг другу вычитанные и выдуманые истории, переходили из кинотеатра в кинотеатр, где показывали приключенческие американские фильмы с ковбоями, убийствами и погоней. После двух-трех сеансов лица героев и героинь сливались в одно лицо: бачки Гарри Пиля появлялись на сладкой физиономии Рудольфо Валентино, и я уже терял способность отличать Мэри Пикфорд от Асты Нильсен. Тогда мы выходили на бульвар, покрытый мокрым снегом, садились на скамейку и пытались выкурить по папиросе так, чтобы не стошнило. Иногда это нам удавалось, и тогда мы чувствовали себя абсолютно взрослыми людьми, хозяевами своих судеб, жизни в целом и каждого дня в отдельности.

Зима 1923/24 года началась мягко и незаметно. Глубокий влажный снег лежал на крышах домов, на мостовых, на деревьях садов и бульваров. Под Новый год шел дождь, и утром снег был, как в оспинах, от крупных дождевых капель. Беспризорники еще не меняли свои летние квартиры в асфальтовых котлах на зимние — спальни детских домов и камеры правонарушителей в тюрьмах и колониях. К школе я не имел никакого вкуса, ни с кем еще там не дружил и продолжал бездумно шататься по Москве.

Я хорошо помню тот сумеречный теплый день 22 января, небо в низких темно-серых тучах, галок на деревьях и крестах, извозчиков, дремлющих у стоянок на перекрестках улиц. Мы с Сеней прошли Каменный мост, походили по нашим любимым улицам — Знаменке и Волхонке, посидели у храма Христа Спасителя и вышли к Пречистенским воротам. У входа на бульвар стояла толпа людей и молча смотрела на большой фанерный щит с только что наклеенным объявлением в черной траурной рамке. «Правительственное сообщение» — прочел я издали большие черные буквы. Мы протиснулись ближе, и я почувствовал, как разливается по моей спине холодок, пока глаза мои быстро пробегали по строчкам: «Вчера, 21 января 1924 года, в шесть часов пятьдесят минут...». Умер Ленин. В моем сознании Ленин был настолько незыблем и вечен, что я даже не представлял себе, что он может умереть, как все люди, как умер мой дедушка, мои родные. Умер Ленин... Я был тогда далек от понимания значения этого имени в истории. И все же даже в том возрасте я не мог преодолеть в себе какую-то огромную растерянность. Подсознательно я понимал, что стал современником, очевидцем какого-то гигантского, поворотного события в истории.

Собственно, на этом и следует закончить рассказ о моем детстве и отрочестве. Перечитывая все, что я писал долгими зимними ночами в конторке планового отдела, вижу, что рассказал в общем-то банальную историю о том, как размышлялась жизнь маленького еврейского городка; как складывались события в одной обычной для этого города семье... У меня нет ни права, ни оснований считать этот рассказ настолько исключительным, чтобы превращать его в мемуары. Но это вовсе и не мемуары. Не притворяясь, я это писал как письмо к дочери. Письмо оттуда — из исчезнувшего навсегда мира, откуда я родом, а следовательно, и дочь тоже.

Что она сделает с этим письмом — не знаю. Может быть, прочтет и забудет. Может быть, сохранит и через много-много лет перечитает его. Может быть, моим бесхитростным и простодушным рассказом заинтересуется в неизвестном мне будущем какой-нибудь собиратель свидетельств очевидцев необыкновенного времени, Ну, не знаю ничего о будущем этой тетради!

А пока, пока я прощаюсь со своей дочерью.  
Храни тебя Бог, в которого я не верю!

*Усольлаг, Л/о Кушмангорт,  
зима 1951/52 года  
Москва, 1993 год*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава 1</i>	
Вместо предисловия	
	4
<i>Глава 2</i>	
Ерушалаим	
	12
<i>Глава 3</i>	
Горы — Горки	
	22
<i>Глава 4</i>	
Первые воспоминания	
	32
<i>Глава 5</i>	
Отец	
	36
<i>Глава 6</i>	
Мать	
	42
<i>Глава 7</i>	
Мои родные	
	48
<i>Глава 8</i>	
Братья — друзья	
	58
<i>Глава 9</i>	
Жить — интересно!	
	70
<i>Глава 10</i>	
Праздники	
	82

---

<i>Глава 11</i>	
Касимов	
94	
<i>Глава 12</i>	
Школа	
104	
<i>Глава 13</i>	
Возвращение	
114	
<i>Глава 14</i>	
Корова	
122	
<i>Глава 15</i>	
Мизиник	
130	
<i>Глава 16</i>	
Встреча с властью	
142	
<i>Глава 17</i>	
Вторая ступень	
154	
<i>Глава 18</i>	
Не хлебом единым	
166	
<i>Глава 19</i>	
Заканчивается детство	
178	
<i>Глава 20</i>	
И начинается Москва	
188	
<i>Глава 21</i>	
И заканчивается эпоха...	
198	

Лев Эммануилович Разгон

ПОЗАВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Редактор  
Р.Е. Полищук

Технический редактор  
Т.С. Казовская

Корректор  
Г.В. Чуба

Компьютерная верстка  
О.Н. Емельяновой



Сдано в набор 08.06.95.  
Подписано к печати 28.08.95.  
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.  
Усл.печ.л. 12,09. Уч.-изд.л. 13,02.

Издательство "ИНФРА-М",  
27247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.  
Типография А/О "ПОЛИМАГ",  
27247, Москва, Дмитровское шоссе, 107.

Независимые литераторы Израиля и России,  
а также российская частная фирма «Илья Колеров и К<sup>о</sup>»  
представляют литературный альманах

«ПЕРЕКРЕСТОК — ЦОМЕТ», выпуск второй  
под редакцией

Леонида Гомберга (Израиль)  
Рады Полищук (Москва)

**Читайте во втором выпуске альманаха:**

главу из книги Семена Липкина «Зарисовки и соображения»,  
главы из романа «Не отврати лица от смерти» Григория Канови-  
ча, воспоминания Михаила Козакова о Давиде Самойлове, эссе  
Бенедикта Сарнова и Лидии Либединской, фрагмент из повести  
Аллы Гербер «Мама и папа», стихи Евгения Рейна, Ильи Бокш-  
тейна и многое другое.

**ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИНЫ:**

**в Москве**

Дом книги, ул. Новый Арбат, 8  
«19 Октября», 1-й Казачий пер., 16  
«Гилея», ул. Знаменка, 10  
Художественный салон, Кузнецкий мост, 1  
Книжная лавка в синагоге на Большой Бронной

**в Санкт-Петербурге**

Салон интеллектуальной литературы «Эзро»,  
набережная Канала им. Грибоедова, 86.

*Приобрести альманахи,  
а также получить информацию можно по телефону:*

*(095) 928—07—81.*

